



## **А. В. КОЛЧАК**

**<«Если бы Вы знали,  
как мне хочется участвовать в войне  
и думать об Анне Васильевне...»>  
<Из писем А. В. Колчака А. В. Тимирёвой>**

*[Не ранее 28 июня 1917 г.]*

*[Датируется по сопоставлению с предыдущими письмами.]*

Глубокоуважаемая, милая Анна Васильевна.

Позвольте поговорить немного с Вами — мне так хочется сегодня это сделать, хотя прошло всего три дня со времени Вашего отъезда и я мысленно живу пока воспоминаниями о Вашем пребывании в Петрограде *[Далее — чистые полстраницы.]*

Вы не будете очень недовольны за настоящее письмо, мне так хочется говорить с Вами, хотя прошло всего несколько дней, как Вы уехали в Ревель. Благополучно ли Вы доехали до дома и не очень ли было неудобно в дороге в непосредственной близости товарищей, забравшихся в вагон перед отходом поезда?

Вчера я сделал визит Марии Ильиничне и довольно долго беседовал с ней о текущих событиях, главным образом о нашем наступлении. Вчера были получены известия, что сын Марии Ильиничны, служащий в Семеновском полку, ранен во время последних операций, но подробности неизвестны, и Мария Ильинична вчера об этом осведомлена не была.

Мои дела с отъездом тянутся очень медленно — правительство формально уведомило меня об отправке меня во главе специальной военно-морской миссии в Америку, но вопрос о составе миссии все еще не решен. Тавастшерна после свидания с женой, видимо, колеблется оставить ее, и я не уверен, что он поедет со мной. Я понимаю его и не настаиваю, хотя он очень нужен для моей работы.

Являлась ко мне делегация офицерского союза с фронта и поднесла оружие с крайне лестной надписью. Я очень тронут таким отношением к моим настоящим деяниям и заслугам офицеров фронта, но я в душе

предпочел бы, чтобы оснований, вызвавших это внимание, не существовало бы вовсе.

Сегодня я имел продолжительную беседу с председателем комиссии, посланной в Севастополь для расследования происшедших там событий, — А. С. Зарудным и выслушал истинно философскую историческую критику этого скверного дела. Как я ожидал, мнение истинного юриста сводится к тому, что сущность севастопольской истории в сравнении с делом великого исторического переворота ничего не стоит. Важен только факт моего ухода, безотносительно к причинам, его вызвавшим, и что ко мне может и должно быть предъявлено [требование] о «героическом самопожертвовании» и возвращении к командованию флотом Черного моря, т[ак] к[ак] препятствий для этого, кроме исходящих от меня, в сущности, нет. Вот это философия — я понимаю — Владимир Вадимович<sup>1</sup> только ученик в этой области. С чего взяли, что ко мне могут предъявлять какие-то героические требования там, где я никаких элементов героизма не усматриваю. По совести говоря, «грабящий героизм» никогда не привлекал меня, и я сомневаюсь даже в существовании такого понятия. Только одна известная причина могла бы подвинуть меня на такой поступок, который иногда в моих глазах кажется просто нелепостью. Вы знаете ее — но ведь на это сейчас никто же и не пойдет, тем более что остается всего три месяца. Но довольно философии.

Господи, как я думал все о Вас. Ваш милый, обожаемый образ все время передо мной. Только Вы своим приездом дали мне спокойствие и уверенность в будущем, и только Ваше [Фраза не дописана. Далее прочерк во всю страницу.]

Все это не имеет серьезного военного значения. Лично для меня только Вы, Ваш приезд явился компенсацией за все пережитое, создав душевное спокойствие и веру в будущее. Только Вы одна и можете это сделать. Все дни эти я думаю о Вас, как всегда, и Ваш обожаемый и бескон[ечно] милый образ так ясно и отчетливо находится передо мной. Я боюсь с каким-то почти суеверным чувством думать о том, что, может быть, я еще раз перед отъездом увижу Вас, я не смею просить ни у судьбы, ни тем более у Вас об этом.

Примите мое обожание и поклонение.

Целую ручки Ваши.

А. Колчак

[В начале страницы перед письмом сделана запись:

«5 июля 1917 г. Г[лубокоуважаемая] А[нна] В[асильевна].

Вчера вечером я получил письмо Ваше от 3 июля» — и затем все зачеркнуто, кроме обращения «Г. А. В.» и слова «вечером», вставленного между строк.]

*Лондон 4/17 августа 1917 г.*

Милая, дорогая, моя обожаемая Анна Васильевна.

Третий день, как я в Лондоне. Последнее письмо Вам я послал из Бергена за несколько часов до ухода на ss [Ss. — Steamship — пароход (*англ.*)] «Vulture» в Aberdeen. Переход Северным морем с конвоем миноносцев был прекрасен и не сопровождался какими-либо особенностями, хотя дня за два немцы утопили на этой линии пароход, несмотря на охрану и некоторые меры предосторожности. В Aberдине я провел только одну ночь и на следующее утро выехал в Лондон, где теперь нахожусь в ожидании ухода в Америку. Впечатление после оставления России и тем более в Англии и Лондоне очень невеселое.

Испытываешь чувство, похожее на стыд, при виде того порядка и удобств жизни, о которых как-то давно утратил всякое представление у себя на Родине. А ведь Лондон находится в сфере воздушных атак, которые гораздо серьезней по результатам, чем об этом сообщает пресса. Немцы стараются атаковать Сити — район банков и главных торговых учреждений — и кое-что там попортили. Иногда они сбрасывают бомбы, как Бог (немецкий) на душу положит, и убивают почему-то преимущественно женщин и детей. Англичан это приводит в ярость, но средств прекратить эти немецкие безобразия нет, равно как и работу подлодок, преисправно топящих ежедневно коммерческие пароходы.

Но при всем том, повторяю, делается стыдно за нас, и испытываешь тихо укор совести за тех, кто остался в России.

Но последнее время в Англии появилось угрожающее движение Labour Party [Лейбористской партии (*англ.*)] с тенденцией создания Советов С[олдатских] и Р[абочих] Депутатов. Это несомненно немецкая работа, и англичане имеют в лице Ramsay Macdonald<sup>а</sup>2 достойного сподвижника Ленина и проч[их] немецких агентов, которые у нас чуть ли не входят в состав правительства.

Но стоит ли говорить о политике, тем более что я почти ничего не знаю, что делается теперь у нас. Если бы Вы знали, как мне хочется участвовать в войне и думать об Анне Васильевне в обстановке, ее достойной. Только война может дать мне право на счастье ее видеть, быть вблизи нее, целовать ее ручки, слышать ее голос, и я хочу [*Зачеркнуто*: завоевать это все.] иметь это право. Но как трудно его завоевать, все, что ни делаешь, то кажется совершенно ничтожным и недостойным. И вот теперь, сидя в Лондоне, я чувствую, что я ничего не делаю уже два месяца в этом смысле, и возникают мрачные мысли, что, может быть, это не удастся сделать так, как я бы это хотел. Что, если американцы не будут действовать активно своим флотом? Root и Glenon ведь не выражают мнение всех U.S. of A[merica] [Соединенные Штаты Америки (*англ.*)]. Я ведь тоже хотел выполнить то, о чем они говорили,

но ни высшее командование, ни правительство не признали это возможным [*Зачеркнуто*: И я смотрю на Вашу фотографию, которая стоит передо мною, и мне кажется, что она улыбается с...].

*Лондон 7/20 августа.*

Мое письмо задержалось на три дня. 5/18-го я с утра уехал на морскую авиационную станцию в Felixtowe, на берегу Северного моря, вернувшись, имел свидание с адмиралами Jellicoe и Penn<sup>3</sup>; 6/19-го я совершил поездку на английском автомобиле в Brighton и Eastbourne [*Здесь и далее у Колчака ошибочно — Isbourne.*], а сегодня с утра опять был в Felixtowe и участвовал в воздушной операции для поисков за подводными лодками в Северном море. Только что я вернулся из Felixtowe, и после трех дней довольно дикого движения на экспрессах, автомобилях и гидропланах я чувствую себя в довольно уравновешенном состоянии, и мне так хочется думать о Вас и говорить с Вами.

Рассказать Вам про английскую гидроавиацию? За два года англичане создали это оружие в таком размере и такого свойства, о котором мы не имеем представления. Я в Черном море хотел уничтожить существующую гидроавиацию, чтобы начать ее создавать вновь, но только здесь я убедился, что был прав. Англичане получили из авиации действительно грозное оружие, и надо приложить немедленно все усилия, чтобы не отстать и создать его у нас. Но Вы понимаете, какова задача «создать новое оружие» в нашей обстановке с «товарищами» и депутатами!

Рассказать Вам про свидание с адмиралом Jellicoe? Адмирал был исключительно любезен со мной и доказал лучшим образом свое отношение ко мне, перейдя сразу к делу, достав наиболее секретные карты заграждений Северного моря и Канала и посвятив меня в самые секретные оперативные соображения. Вы согласитесь, что большего внимания и любезности я не мог ожидать от бывшего командующего Grand Fleet'ом [Гранд-Флит (флот метрополии), букв. Большой флот (*англ.*).] и 1-го морского лорда. Я провел в высшей степени приятные 1½ часа, обсуждая с Jellicoe вопросы войны, забыв на время все остальное. Как редко у нас можно иметь такое удовольствие. Я перешел под конец к морской авиации и выразил желание принять участие в одной из обычных операций гидропланов. Jellicoe отнесся к этому как к наиболее естественной вещи и только спросил, желаю ли я идти на миноносце или на гидро. После ответа моего, что я хочу идти на гидро, чтобы посмотреть их боевую работу, был вызван адмирал Penn, 5-й лорд Адмиралтейства и начальник морской авиации. Penn, выслушав Jellicoe, ответил только: «Yes, Sir» [Да, сэръ (*англ.*).] — и спросил, какой род операции я желал бы видеть: против подлодок

или против цеппелинов. Обсудив над картой вероятность той или другой операции и имея в виду, что воздушное крейсерство для наблюдения за цеппелинами менее вероятно в смысле встречи, т[ак] к[ак] в общем они появляются теперь над морем после нескольких случаев уничтожения английскими аэропланами очень редко, я остановился на чисто морской операции против подлодок. Ренн ответил, что два аппарата последнего типа будут в моем распоряжении [*Далее зачеркнуто*: и узнав, что я уже неоднократно летал на гидро], а сегодня я с утра в Felixtowe. Вчера же я с лейтенантом Дыбовским<sup>4</sup> сделал автомобильный пробег на лучшем гоночном автомобиле Rolls-Roise, дающем 120–130 км. Мы сделали около 250 миль, пройдя из Лондона в Брайтон и Eastbourne, и только ночью вернулись в Лондон. Я первый раз видел такую совершенную машину такой мощности, и при идеальном управлении лейтенанта Дыбовского подобный пробег действительно доставляет высокое удовольствие. Сегодня я утром перебрался в Felixtowe на авиационную станцию, где меня ждали два поразительных аппарата — это уже не летающие лодки, а нечто вроде воздушных миноносцев, вооруженных 5-ти и 8-ми пудовыми бомбами, 4-мя пулеметами, с незнакомой у нас мощностью двойных моторов и радиусом действия.

Три аппарата уже вышли в море — до моего приезда, — я понял, что это мера предосторожности, о которой не сказал мне ни Jellicoe, ни Ренн, и понял, что встретить теперь противника почти невозможно, ибо немцы не имеют таких огромных воздушных крейсеров и их гидро не рискуют нападать на них, цеппелины также избегают с ними встреч, а подлодки немедленно прячутся на глубину. Пять таких воздушных крейсеров действительно осуществляют господство над воздухом там, где они появляются, и от них спасается все, что может. Т[аким] обр[азом], полет получил только технический интерес почти без надежды встретить противника. Но говорить об этом не приходилось, конечно.

Когда я ознакомился с управлением пулеметом Lewis'a и прицельным аппаратом для бомбометания, два огромных биплана поднялись на воздух и направились к голландскому маяку North Hinder и далее в море к бельгийскому берегу. В районе Hinder посредине Северного моря уже крейсировали три другие машины.

Английские траулеры и миноносцы остались далеко позади, и кругом было пустынное Северное море с обычным для него мглистым горизонтом, несмотря на ясный солнечный день. Аппараты разделились, и каждый пошел по определенному направлению, осматривая море с высоты 1000–1200 з. [Z. — zenith distance (*англ.*) — зенитного расстояния.] футов. Ни одного воздушного аппарата не замечалось

со стороны Остенде и Ньюпорта, где находятся большие немецкие аэропланнские станции, ни одного неприятельского судна там не было видно, только одно место мне показалось подозрительным — между пятнами отмелей, более светлыми, чем глубины моря, был виден какой-то силуэт, похожий на судно, лежащее под водой. Мы снизились и детально обследовали это место, по-видимому, там лежал потопленный пароход — по форме это не была подлодка, и я, приготовившись сбросить бомбы, все-таки воздержался, т[ак] к[ак] мне не хотелось делать несерьезное дело — бросать бомбы в какого-то утопленника. К вечеру все машины вернулись в Felixtowe, и я с гидро пересел в автомобиль и после отличного пробега километров по 80 в час переехал в Ипсвич, откуда по железной дороге вернулся в Лондон. Мне немного жаль, что не удалось встретиться с неприятелем, но для этого нужен, конечно, не один день, или же надо было бы перебраться на материк в Дюнкерк, откуда постоянно делают полеты воздушные эскадрильи для бомбометания на фронте и каждый день происходят встречи с противником. Англичане действительно владеют морем не только на поверхности, но и в воздушном районе над этим морем, и немцы только неожиданно могут совершить воздушные рейды такого же характера случайных облав, как и своими судами, — систематически же оспаривать господство англичан там они не могут. Надо видеть средства, которыми они располагают, чтобы понять, что такое господство над морем или воздухом, и почувствовать, как далеки мы от этого.

Надо испытать то чувство уверенности в силе, желание встречи с противником, которое является, когда имеешь действительно совершенное оружие, качественно и количественно превосходящее таковое же у противника. Первый раз на воздухе я испытал это чувство и вспомнил свой флот, свою авиацию, и невесело сделалось на душе. Невольно является зависть к людям, которые действительно ведут войну и работают для своей родины, и при этом работают в прекрасной обстановке, о которой мы утратили всякое представление. А ведь все это могло бы быть и у нас, но... лучше не говорить на эту тему.

Я думал, конечно, и о Вас, как всегда думаю во время всякой военной работы, — я уже писал Вам и говорил, что я, как ни странно, но во время военной работы вблизи неприятеля или в районе его, вспоминая Вас, переживаю вновь то чувство радости и счастья, точно я нахожусь вблизи Вас. Я понимаю, что это, может быть, нелепо, но, вероятно, я невольно чувствую себя как-то более достойным этого счастья, когда занят войной, когда нахожусь в обстановке военной работы, чем в обычных условиях будничной серой жизни. И сегодня я так был счастлив, думая о Вас в Северном море, вспоминая последние наши дни, когда

я Вас видел, когда Вы были так близко ко мне, когда Вы с такой лаской отвечали моему желанию видеть Вас, быть около Вас, слышать Ваш голос; так хорошо вспоминать Ваши милые обожаемые ручки, Ваши глазки, так похожие на голубовато-синее море. Правда, Северное море, представляющее в этих районах местами какое-то чудовищное минное болото с тысячами мин и сетей — не очень лестное сравнение, особенно на мостике миноносца или крейсера, но с аэроплана оно не вызывает своеобразных и малоприятных ощущений. Я почти с удовольствием посмотрел на всплывшую или сорванную мину, плавающую у отмелей голландского берега, — с высоты 500 метров она производит другое впечатление, чем когда проходит по борту миноносца. Но я начал говорить вздор. А Jellicoe — настоящая химера; достаточно сказать, что все находят странное сходство между ним и мною. Я не берусь судить, насколько это верно, но что некоторой общности приемов держать себя и говорить, я не могу отрицать.

*8/21 августа.*

Сегодня приехал с Grand Fleet кап[итан] 1-го р[анга] Шульц<sup>5</sup> и рассказал об ужасном взрыве английского дредноута «Vanguard» на рейде Скапа.

Около 11 h[our] [часов (англ.)] вечера «Vanguard», стоя на якоре посреди Grand Fleet'a, взорвался весь, причем с него подобрали только 2-х матросов, оставшихся в живых. Это из 1100 человек экипажа. Причины так же неизвестны, как и во всех подобных случаях. В английском флоте это 4-й случай, и надо думать, что дело лежит в каких-то внутренних изменениях пороха. Худо то, что у англичан происходит при частном взрыве общая детонация боевых запасов, чего не было, напр[имер], на «Имп[ератрице] Марии». Это случилось у них и в Ютландском бою с «Queen Mary» и другими кораблями при взрывах погребов<sup>6</sup>. Простите меня, Анна Васильевна, что я пишу Вам о таких вещах. Я так привык думать о Вас в связи со всякими военными делами и вопросами, что иногда невольно начинаю говорить с Вами на темы, совершенно для Вас чуждые и неинтересные. Не поставьте в вину это Вашей химере, которая, может быть, заслуживает «милостивого снисхождения» с Вашей стороны хотя бы за то, что она молится на Вас и думает о Вас все время, вечно своим светлом божестве, помимо которого нет не только счастья, но даже обычного удовольствия или развлечения. Для меня нет другой радости, как думать о Вас, вспоминать редкие встречи с Вами, смотреть на Ваши фотографии и мечтать о том неизвестном времени и обстановке, когда я Вас снова увижу. Это единственное доказательство, что надежда на мое счастье существует, но я знаю, как трудно получить теперь



от Вас письмо, и я стараюсь не думать об этом. Когда-нибудь я получу от Вас несколько слов, которые так бесконечно для меня дороги, как все, что связано с Вами.

[Позднее 21/8 августа 1917 г.]

[Датируется по предыдущему письму.]

Милая, дорогая, обожаемая Анна Васильевна.

Простите меня за смелость, с которой я решился послать Вам [Далее вставлено и затем зачеркнуто: фотографические принадлежности] несколько вещей, которых теперь нет в России и которые, может быть, Вам пригодятся. Я знаю, что Вы будете сердиться на меня, но простите со свойственной Вам милостью и добротой меня за то, что я доставил себе удовольствие хотя немного подумать о Вас, о Ваших милых ручках, которые так много дали мне высокого счастья.

Я буду оправдываться. Я не имею и не получил от Вас права что-либо послать Вам, но мне так хотелось хоть что-нибудь сделать для Вас в пределах совершенно допускаемого почтения, что я обратился к одной очаровательной даме — жене нашего морского офицера капитана] 2-го р[анга] Дыбовского — помочь мне в решении этого вопроса своим советом и указанием. Поэтому позвольте в виде оправдания своего сослаться на мнение дамы, вполне осведомленной в принятых в Англии обычаях. Я очень боюсь, что Вы будете недовольны некоторыми вещами, но я положительно действовал не вполне самостоятельно, а руководствовался выбором и советом, которые считал компетентными. Милая Анна Васильевна, я очень огорчен, что Вы мне не дали никаких поручений. Я мог бы послать Вам действительно полезные и необходимые вещи, которых теперь нет у нас в России, и если бы Вы доставили мне удовольствие служить Вам в этом смысле, прислав соответствующие указания.

Напишите мне, милая Анна Васильевна, что бы Вы желали получить из Англии или Америки, и я буду считать это, во-первых, что Вы прощаете и не сердитесь на меня и, во-вторых, лучшим удовольствием, которое я могу теперь иметь. Я не могу ручаться только за время, так как почта теперь не существует. Я просил бы указать мне необходимые номера и размерения, т[ак] к[ак] у меня имеется только одна перчатка Ваша, номером которой я руководствовался. Я думаю, что Вы не осудите меня, т[ак] к[ак] в России теперь нет самых необходимых вещей, и, может быть, я мог бы быть счастлив служить Вам. Я укажу на такие вещи, как обувь, полотно, материи и проч[ее]. Извиняюсь за упаковку — надо спешно посылать в посольство вещи для отправки с вализой, а у меня нет ничего под руками, кроме кожаного ящичка, и я боюсь, что Вы получите некоторую смесь, за что на всякий случай прошу не очень осуждать мое умение укладывать посылки.



[Август 1917 г.]

[Датируется по смежным письмам.]

Моя мечта, моя идея военного успеха и счастья.

Моя милая, дорогая, обожаемая Анна Васильевна.

Я смотрю на Ваши последние фотографические изображения, которые стоят передо мной. Это Ваш снимок, где Вы сидите на окне, кажется, в Гельсингфорском Kemp Hotel'е, и другой, где Вы сняты, по-видимому, в Ревеле около какой-то странного стиля для прогулки с ручками, спрятанными в карманы, и почему-то закрытыми глазками, но фотография, несмотря на малое увеличение, передает Вашу милую, никогда не забываемую улыбку, с которой у меня всегда связаны представления об утренней заре, о каком-то светлом счастье и радости жизни, которое я всегда испытывал, и находясь вблизи Вас, и думая о Вас с первых дней нашего знакомства. Я говорил сегодня в обществе весьма серьезных людей о великой военной идее, о ее вечном значении, о бессилии идеологии социализма в сравнении с этой вечной истиной, истинной борьбы и вытекающих из нее самопожертвования, презрения к жизни во имя великого дела, о конечной цели жизни — славе военной, ореоле выполненного обязательства и долга перед своей Родиной. И Ваш милый, обожаемый образ все время был перед моими глазами — Ваша никогда не забываемая улыбка, Ваш голос, Ваши розовые ручки для меня являются символом высшей награды, которую может дать жизнь за выполнение величайшей задачи, выполнение военной идеи, долга и обязательств, посылаемых суровой и непреклонной природой войны... Только война могла показать мне Вас в таком близком желании и в то же время недоступном, как идеал поклонения... Как тяжело и в то же время хорошо думать о Вас как о чем-то самом близком и в то же время удаленном, как звезда, счастье, как [о] божестве, милостиво оказавшем свое внимание и остающемся чем-то недостижимым; как о воплотившейся мечте, остающейся несбыточной и нереальной, как всякая мечта.

Господи, как Вы прелестны на Ваших маленьких изображениях, стоящих передо мною теперь. Последняя фотография Ваша так хорошо передает Вашу милую забываемую улыбку, с которой у меня соединяется представление о высшем счастье, которое может дать жизнь, о счастье, которое может явиться наградой только за великие подвиги. Как далек я от них, как ничтожно кажется все сделанное мною перед этим счастьем, перед этой наградой. Но разве не прекрасна война, если она дает такую радость, как поклонение Вам, как мечту о Вас, может быть, даже и несбыточную... Вот о чем я думал, говоря сегодня в обществе военных людей свою апологию войне, высказывая веру в нее, с чувством глубокой благодарности ей, что она в лице Вашем

дала мне награду за всю тяжесть, за все страдания, за все горести, с ней связанные, ибо война, как сказал еще один великий философ, суть область страданий и лишений физических и моральных по преимуществу. «Находите ли Вы компенсацию за все это или Вы чувствуете горечь разочарования в Вашем служении военной идее и войне?» — спросили сегодня меня. Служение идее никогда не дает конечного удовлетворения, но в личной жизни — я вспомнил Вас, Ваши слова, Ваши письма, Ваши розовые ручки, часы, когда Вы были вблизи меня, — и я ответил: да, война дала мне полную компенсацию, дала счастье и радость, о которой я до нее не имел представления. Милая, обожаемая моя Анна Васильевна, Вы вся такое счастье, что одна мысль о Вас, надежда Вас увидеть, услышать Ваш голос, все воспоминания о Вас, о часах, проведенных с Вами, дают такое непередаваемое чувство светлой радости, что все будущее кажется каким-то хорошим и все мрачное и тяжелое отходит куда-то в сторону. Правда, тяжело думать о расстоянии, которое на днях увеличится на тысячи миль, о времени, когда я Вас снова увижу, но я хочу верить в Вас, Анна Васильевна, верить как в божество, которое когда-нибудь снизойдет до меня и даст мне счастье своей близости, как это было в июне и июле в Петрограде и в прошлом году в Ревеле.

Вы писали мне о вере — да разве я могу не верить в свое божество, без которого у меня нет даже представлений о счастье и радости жизни; ведь без веры нет и надежды увидеть Вас, такой милой, обожаемой, ласковой, как божество, с Вашей розовой улыбкой и ручками. Но я боюсь, что надоел Вам изложениями своих воспоминаний о Вас. Я хотел бы думать, что Вы не осудите и не поставите мне в вину это письмо. Ведь только глубокое обожание и поклонение Анне Васильевне как светлomu божеству я ничего [иного] не хотел высказать.

[Господь] Бог рад будет сохранить и благословить Анну Васильевну, мое светлое счастье и радость.

*[Ранее 30/17 августа 1917 г.]*

*[Датируется по следующему письму.]*

Сегодня я перечитал все письма Ваши, полученные мною после моего отъезда за границу. У меня нет теперь другого удовольствия, нет забвения, как остаться одному и перед Вашими фотографиями перечитывать Ваши письма и смотреть на них, вспоминая те немногие дни, когда я был близко от Вас.

Как-то забывается тогда действительность, так противоречащая всему тому, что я привык соединять с думами и мечтами о Вас. Иногда я исписываю несколько листков бумаги и бросаю их затем в камин — по большей части это не имеющие значения слова, с которыми

я обращаюсь к Вам, чаще я ничего не пишу, а только смотрю на Ваши карточки и Ваши письма и забываю на некоторое время, где я нахожусь и что ждет меня в моей странной для самого себя жизни. И, думая о Вас, я временами испытываю какое-то странное состояние, где мне кажется прошлое каким-то сном, особенно в отношении Вас. Да верно ли я забыл когда-нибудь Анну Васильевну, неужели это правда, а не моя собственная фантазия о ней, что я был около нее, говорил с нею, целовал ее милые розовые ручки, слышал ее голос. Неужели не сон сад Ревельского Собрания, белые ночи в Петрограде, может быть, ничего подобного не было.

Но передо мной стоит портрет Анны Васильевны, с ее милой прелестной улыбкой, лежат ее письма, с такими же милыми ласковыми словами, и когда читаешь их и вспоминаешь Анну Васильевну, то всегда кажется, что совершенно недостойн этого счастья, что эти слова являются наградой незаслуженной, и возникает боязнь за их утрату и сомнения.

*Ss. «Gloucestershire» 30/17 августа 1917 г.*

*Ирландское море*

Милая, дорогая моя Анна Васильевна

Вчера утром я уехал с миссией из Лондона в Glasgow, считая невозможным ждать далее телеграмм из Петрограда, имея сведения о крайне трудном теперь сообщении с Америкой и желая воспользоваться любезностью Адмиралтейства, предложившего мне совершить переход через океан на вспомогательном крейсере «Gloucestershire» — это океанский пароход компании Bibby Line, бывший ранее на Ост-Индской линии, относительно сильно теперь вооруженный и во время войны исполняющий обязанности дозорной и крейсерской службы в Северном Атлантическом океане. За две недели Лондон порядочно надоел, хотя я все время уезжал из него, и я уехал в Glasgow с надеждой поскорее уйти в океан и заняться кое-какими подготовительными работами для американского флота. В Glasgow мы прибыли в 7½ p.[m]. [p.[m]. — post meridiem — пополудни (*лат.*.)], а в 9 h[our] крейсер уже шел вниз по Clyde'у. Выход в океан по северную сторону Ирландии оказался заблокированным немецкими подлодками, утопившими там за последние дни 5 пароходов, и Адмиралтейство указало на путь к югу. Пошли на юг Ирландским морем. Продолжавшийся три дня шторм со скверной осенней погодой почти стих, но холод и дождь продолжались. Ночью получили приказание идти в Ливерпуль, а не в океан — немцы перетопили несколько пароходов и на южном выходе. Здесь я наглядно убедился, что подводная война серьезнее, чем мы думали, и немцы, перенеся последнее время работу своих подлодок на океанские подходы

к Англии, создали серьезные затруднения для морских сообщений. Ирландское море совершенно пустынно. Где раньше встречались десятки пароходов, теперь мы видели только два да несколько тральщиков, несущих свою дозорную службу.

*Ливерпуль.*

Около 7 h[our] вечера пришли на рейд. Второй после Лондона торговый порт кажется почти пустым — куда исчезли огромные трансатлантические liner'ы [лайнеры (*англ.*) — пароходы, совершающие регулярные рейсы], сотни пароходов и парусников — видимо, они направляются в другие порты или их нет просто-напросто: большинство занято военными перевозками, часть потоплена... Торгового движения, не говоря о пассажирском, в сущности, нет — все сообщения имеют военные цели и обслуживают только потребности войны. Получили приказание идти в океан с конвоем миноносцев, а пока ждать.

Из России пришли отвратительные известия. Не умею сказать, как тяжело думать об этом при сознании бессилия если не помочь, то хоть участвовать лично в текущих событиях на своей Родине.

*На ходу у SO [У юго-восточных (SO — зюйд-ост, юго-восток).] берегов Ирландии 31/18 августа.*

Утром снялись и пошли в море целым отрядом. С нами идет огромный океанский liner «Carmania» с больными и ранеными канадскими войсками, отправляющимися на родину, малый крейсер «Isis», большой крейсер «Donegall» и 4 истребителя<sup>7</sup>. Дождь, мгла и свежий W-й [Западный (W — вест, запад).] ветер; пройдя вдоль берегов о[стро]ва Anglesey, прошли каналом Св. Георгия к ирландскому берегу и теперь идем на юг вдоль него.

Вечером после обеда я долго ходил по палубе, думая о нашем флоте, о Вас и о темном неизвестном будущем. Ночь мгlistая, временами дождь, временами проглядывает полная луна, и тогда делается совсем светло и показываются очертания ирландского берега. Странно быть в море, не принимая участия в походе, в сигналах и маневрировании, но что поделать.

Милая Анна Васильевна, что делаете Вы в этот вечер? Вы, вероятно, еще в деревне, и у Вас также наступает осень, возможно, что и погода такая же, как здесь. Как хочется иногда повидать Вас; писем от Вас в Англии я не получил — это показатель, как скоро они доходят. Ведь я провел в Лондоне 15 дней. Когда я получу письма Ваши в Америке? Если даже сегодня они пришли в Лондон, то не ранее как дней через 20 я могу надеяться прочесть их в Вашингтоне. Остается вспоминать прошлое, дни, когда я Вас видел, мечтать о тех, которые

«когда-нибудь, может быть», и настанут. Но что можно придумать при выходе из Ирландского моря в океан? Иногда кажется, что Ваше пребывание в Петрограде в конце июня и в июле было только сном, а не действительностью.

Да, по существу, важно ли это... А вот действительность, совсем не похожая на сон. Мои мечты о Вас были прерваны командиром, который подошел ко мне и лично передал только что полученную радио; дозорное судно сообщает флоту, что в канале погибает пароход, взорванный не то подлодкой, не то наткнувшийся на мину заграждения, поставленную подлодкой же. Надо идти спать. Спокойной ночи, Анна Васильевна.

*Атлантический океан 2 сентября/20 августа.*

Вчера было довольно свежо, но за ночь стихло. Остается только большая океанская зыбь, идущая с северо-запада, на которой довольно спокойно и судам и миноносцам. Мы спустились довольно далеко к югу, в сторону от обычных путей через океан, во избежание встреч с подлодками. Мин здесь уже нет — глубины более 2000 сажен. Я начал составлять записку о реорганизации флота — но кому ее подать и кто будет осуществлять эту новую организацию? Не в проектированный же присяжным поверенным «высший морской совет» с доверенными из матросов 2-й ст[атьи] с революционным цензом, основанным на разряде неисправимо дерзкого поведения.

Присматриваясь к жизни на этом вспомогательном крейсере, испытываешь боль за позорное состояние нашего флота. Хочется не думать о том, о чем думал всю жизнь.

Около трех часов миноносцы оставили нас и ушли обратно. Погода к вечеру несколько ухудшилась; небо покрылось облаками, по горизонту мгла, ветер свежеет, и временами дождь.

*3 сентября/21 августа.*

Ночью крейсера «Donegall» и «Isis» отделились, и теперь мы идем только с одной «Carmania» — мы уже далеко в океане, и встреча с подлодкой может быть только случайной и маловероятной. Сегодня прекрасное, солнечное, тихое и теплое утро и огромная зыбь, идущая с запада. Один за другим, без конца идут огромные отлогие голубые валы, движимые силой инерции колебательного движения. Когда-то я много думал о теории волнения и вел наблюдения над его элементами; теперь я смотрю на него довольно равнодушно, хотя зыбь весьма величественная. Огромная «Carmania» наклоняется вся между двумя соседними вершинами и временами уходит до палубы полубака в воду, а высота ее носовой части не меньше 30–35 футов. За день видели на горизонте только один пароход.

4 сентября/22 августа

Сегодня утром получена отвратительная радио. Нами оставлена Рига. Неужели же это не доказательство полной несостоятельности того, что не имеет, в сущности, названия, но почему-то называется «правительством». Позора Юго-Западного фронта было недостаточно, неужели мало нового на Северном фронте. Больше всего заботит меня вопрос о флоте и Рижском заливе. С падением Риги все крайне осложняется и будущее кажется совершенно безнадежным. Два года тому назад я работал в Рижском заливе и, вернувшись в Гельсингфорс, увидел Вас. Это был один из хороших периодов моей жизни. Рижский залив, Минная дивизия, совместные операции с сухопутными войсками, Радко-Дмитриев, Непенин, наконец, возвращение и встреча с Вами, с милой, обожаемой Анной Васильевной.

Так неужели же Рижский залив в руках неприятеля? Весь ужас, что средства теперь в несколько раз сильнее, чем были тогда... Но что говорить об этом посредине Атлантического океана. Надо поговорить о чем-нибудь другом.

Позвольте рассказать Вам об угре, о common eel [обыкновенный угорь (*англ.*)]. Я прочел сегодня под влиянием известия о падении Риги сообщение о метаморфозах угря и думаю, что Вам они неизвестны. Помимо того что угорь бывает в маринованном виде, он является одной из самых удивительных рыб, нам знакомых. Прежде всего, его родиной является Атлантический океан, точнее, часть его, заключенная в треугольнике: о[стро]ва Фарерские, Бермудские и Азорские. Мы как раз проходим это место с глубинами 2000–2500 саж[ен]. Но это еще ничто, а удивительно, что эта рыба размножается и появляется на огромной океанской глубине более 1000 сажен, т.е. в обстановке полного мрака, температуры около 0 (и давления примерно в тонну на один квадратный дюйм [*В рукописи*: 1 п.д.]). Для чего такие условия понадобились природе, чтобы создать обыкновенного угря, я, конечно, не берусь объяснить. Появившись в такой симпатичной обстановке в совершенно невероятном виде, эта рыба постепенно переселяется в верхние слои океана и затем направляется в моря и пресноводные реки и озера; приняв уже обычную форму, угорь забирается во внутренние части материков, переползая по суше значительные пространства, и затем отправляется обратным путем для размножения и смерти на океанскую глубину. Не правда ли, удивительное явление: существо в течение жизни меняет условия существования от океанской глубины до пребывания чуть ли не на земной поверхности. Вы не сердитесь на меня за этот вздор, который я пишу Вам? Сейчас новая радио о занятии Риги немцами и воздушной бомбардировке немецкими аэропланами Чатама: они убили там 107 человек и ранили

более 80 — это уже довольно серьезно. Французы сообщают о том, что их летчики выгрузили на неприятельской территории 15 тонн взрывчатых веществ, а мы, мы отдали Ригу во славу германской агентуры и ее пособников, управляющих Россией.

Я только что вернулся с палубы. Сегодня чудесный летний день (вернее, вечер), зыбь улеглась, безоблачное небо и почти полная луна. Я думал о Вас, о Черном море, где я также на походах ходил по палубе своего корабля, о Рижском заливе, о встречах с Вами в Гельсингфорсе. Все изменилось, только милый, ласкающий образ Ваш остался неизменным; таким же бесконечно дорогим, как раньше, так и теперь он так ясно представляется мне в эту тихую лунную ночь в океане. Неужели Вы были так близко от меня, ездили и ходили со мной целые часы и я был около Вас, держал и целовал ручки Ваши; а сегодня я подсчитал расстояние, отделяющее Вас от меня, — около 3000 миль, но оно увеличивается с каждым оборотом винта и в Вашингтоне будет около 4500 миль по прямому направлению, а если взять действительный путь, то получится более 5000 миль. Вот уже месяц, как я получил последнее письмо Ваше.

Надо окончить это письмо; завтра — начну другое, а то оно примет размеры, которые удивят, пожалуй, Владимира Вадимовича.

Спокойной ночи и до свидания, моя милая, бесконечно дорогая Анна Васильевна.

Целую обожаемые ручки Ваши, насколько это мыслимо сейчас.  
Господь Бог сохранит и благословит Вас.

*А. Колчак*

*Вашингтон 12 октября/29 сентября 1917 г.*

Милая, дорогая Анна Васильевна.

Вот уже два месяца, как я нахожусь в Соединенных Штатах, а вализа первый раз идет только, поэтому Вы получите, вероятно, разные письма, которые я не решался отправить почтой.

Я писал Вам, что мои надежды на участие в известной Вам операции не оправдались. Обсуждение этого вопроса в Вашингтоне выяснило неосуществимость такого предприятия из-за недостатка тоннажа. Кроме того, англичане с Джеллико, озабоченные снабжением Великобритании, решительно против этой операции, т[ак] к[ак] выделить для нее несколько сот пароходов теперь невозможно. Мои дела поэтому заканчиваются, и я чувствую необходимость вернуться в Россию, хотя совершенно не знаю, что буду там делать. Россия фактически перестала воевать, так смотрят на нее все союзники, и единственное их требование — которое они нам предъявляют — это незаключение сепаратного мира. На будущей неделе я пред-



полагаю уехать с миссией из Вашингтона и направиться домой *via* [через (*лат.*)] Тихий океан. Неопределенность положения вещей в Швеции и Финляндии и нежелательность обратиться к содействию Англии для обратного путешествия вызывают признать более удобным путь через Дальний Восток. Navy Department [Морской департамент (*англ.*)] предложил, кроме того, посетить С[ан]-Франциско и Педжет-Саунд, и мне не хочется отказываться от этого предложения, а т[ак] к[ак] мы попадем на берега Тихого океана, то путь на Владивосток является естественным. Итак, я не участвую в войне, я не буду говорить Вам, насколько тяжело это для меня, да это и бесполезно, т[ак] к[ак] до прибытия в Россию все равно изменить это положение невозможно. В крайнем случае, можно будет обратиться к английскому флоту, где у меня есть некоторые знакомства. Могу сказать только, что пребывание за границей очень тягостно ввиду того, что мы справедливо заслужили везде сомнение в своей способности не только вести войну, но даже справиться со своими внутренними делами. Англичане относятся к нам совершенно отрицательно, в Америке смотрят на нас лучше, но, повторяю, я не могу отделаться от чувства неловкости, когда бываю в форме русского офицера... Последние дни я стал временами входить в состояние какой-то прострации — слабое утешение доставило только известие о бунте команд в Германском флоте. Правда, это не то, что у нас, но нечто в этом же стиле, и немцы со своей системой развращения и разложения вооруженной силы своих врагов попались сами на принятых приемах использования пропаганды социализма для этой цели... Милая Анна Васильевна, не сердитесь на это письмо — оно невольно отражает мое состояние, а последнее в высшей степени неважно. Не знаю, что скажу я Вам при встрече, — мое пребывание в Америке есть форма политической ссылки, и вряд ли мое появление в России будет приятно некоторым лицам из состава настоящего правительства. Но там видно будет! Последние события на рижском фронте уже являются серьезной угрозой для южного берега Финского залива — остаетесь ли Вы на зиму в Ревеле или уедете оттуда, я думаю, что вряд ли в Ревеле оставаться будет возможно. Теперь наступила уже осень, и скоро военные операции в Балтике и Прибалтийском крае должны будут приостановиться. Едва ли немцы будут в состоянии теперь развить большие операции, тем более что англичане усиливают все время свою деятельность на Западном фронте. Во всяком случае, мы не можем рассчитывать на какой-нибудь успех ни на море, ни на суше, и наша военная будущность зависит от способности немцев продолжить активное ведение войны на нашей территории. В Америке считают, что окончание войны не будет ранее конца будущего лета — конечно,

сказать трудно, но, видимо, зимняя кампания неизбежна, а для нас, в частности для флота, зима — это время внутреннего разложения, если есть чему разлагаться... Но я верю, что мои мечты рано или поздно сбудутся — может быть, мне не придется в них участвовать как деятелю, но без осуществления их наша Родина не может быть мыслима как великая независимая держава. Как близко началось выполнение моих планов и как далеко оно представляется теперь, и так же далеко милая, дорогая Анна Васильевна, с которой я последнее время так привык связывать свои военные задачи, принявшие теперь действительную форму нелепой химеры.

До свидания, дорогая моя, обожаемая Анна Васильевна.

Господь Бог сохранит и благословит Вас и избавит от всяких испытаний.

Целую Ваши милые ручки, как всегда с глубоким обожанием и преданностью.

*А. Колчак.*

*[Не ранее ноября 1917 г.]*

*[Датируется по времени прибытия Колчака в Японию (начало ноября 1917).]*

В эти дни ожидания, которое временами становилось невыносимым, я часто ездил в Токио и бродил по самым отдаленным японским кварталам. Заходя в лавки со старым хламом, задавшись целью найти старинный японский клинок работы знаменитейшей старинной фамилии оружейников старой Японии Майошин. Фамилия Майошин ведет начало с XII столетия, и в феодальные периоды Камакура и Асикага она поставляла свои клинки сиогунам и даймиогам, и каждый уважающий себя самурай, когда приходилось прибегнуть к хара-кири, проделывал эту операцию инструментом работы Майошин. Клинки Майошин, действительно, — сама поэзия, они изумительно уравновешены и как-то подходят к руке, они сварные (в то время сталь выделывалась очень небольшими пластинками), с железным мягким основанием, великолепно полирующимся, с наваренным стальным лезвием, принимающим острогу бритвы, с особым тусклым матовым оттенком и характерной зигзагообразной линией сварки железа и стали. Перед моими глазами прошли десятки великолепных старых клинков, и надо было большое усилие, чтобы удержаться от покупки, но я хотел клинок Майошин, и никакой другой. Наконец, после великих розысков, я забрался в одном из предместьев Токио в довольно убогую лавчонку, в которой ничего на виду не было, — старый японец принес несколько старинных сабель и кинжальных ножей в великолепной работы ножнах старого лака с художественными украшениями

из чеканной бронзы — но меня это мало интересовало. Я знал, что старинные клинки великих мастеров теперь не оправляются, представляя сами по себе большую ценность, и деревянные ножны и эфесы почти всегда новейшей работы, ибо дерево не выдерживает несколько столетий. Я назвал имена знаменитых оружейников Иосихиро, Масамуне, Иосимитсу, при имени которых хозяин проявил почитание, граничащее с [*На этом текст обрывается.*]

*3.I.1918/21.XII.1917.*

Сегодня неожиданно я получил Ваше письмо от 6 сентября, доставленное мне офицером, приехавшим из Америки. И как всегда, когда я получаю Ваши письма, переживаю то состояние, которое я наз[ываю] счастьем, которое неразрывно связано с Вами, с Вашим образом, с воспоминаниями о Вас. В Ваших письмах я несколько раз читал Ваши сомнения в мою память о Вас, мысли о возможности забыть [Вас] в новой обстановке, такой удаленной и непохожей на ту, в которой Вы находитесь. Нет, Анна Васильевна, я не забывал и не забуду Вас. Я так привык соединять свои мысли о Вас с тем, что называется жизнью, что я совершенно не могу представить себе такого положения, когда бы я мог забыть Вас. Были дни, когда я был близок к отчаянию и когда я желал забыть Вас, но результат получался совершенно обратный — это было очень больно, а боль и страдание совсем не способствуют забвению. Да, в периоды ударов судьбы я готов был всегда отказаться от того счастья, которое у меня связано с Вами, но это не значит забыть Вас. То враждебное чувство к самому себе, которое создается в такие периоды, всегда соединялось у меня с чувством боязни, чтобы даже тень или что-либо, имеющее отношение к моему несчастью, не могло бы коснуться того, что мне было самым дорогим, самым лучшим, — Вашего отношения ко мне. И Вы тогда в моем представлении уходили от меня, я терял чувство близости к Вам, утрачивал радость и счастье, с которым оно связано. Так и теперь в эти недели после прибытия в Yokohama, когда Россия окончательно проиграла войну, когда война у нас закончилась и я вновь пережил все то, что связано со словом «поражение», «проигранная война», — Вы отделились от меня куда-то очень далеко. Я получил здесь семь Ваших писем, полных очарования Вашей милой ласки, внимания, памяти обо мне, всего того, что для меня составляет самую большую радость и счастье, но я чувствую, что я недостоин этого, я не могу, не имею права испытывать этого счастья. Я, может быть, выражаю [*В рукописи: выражаюсь*] недостаточно ясно свою основную мысль; мысль о том, что на меня же ложится все то, что происходит сейчас в России, хотя бы даже одно то, что делается в нашем флоте, — ведь

я адмирал этого флота, я русский... И с таким сознанием я не могу думать об Анне Васильевне так, как я мог бы думать при других, совершенно неосуществимых теперь условиях и обстановке.

Милая Анна Васильевна, Вы совершенно ни с какой стороны не причастны к этому состоянию какой-то душевной раздвоенности, которая у меня возникла под влиянием двух таких, казалось, различных представлений, как война и Вы. Я не умею передать Вам достаточно ясно это состояние. Когда я думаю только о Вас, я хочу видеть Вас, мне хочется пережить хоть еще один раз счастье близости Вашей, посмотреть на Вас, увидеть Вашу улыбку, услышать Ваш голос, но я редко, почти никогда не думаю о Вас вне связи с войной, и, когда я думаю о ней, — то не хочу Вас видеть — какое-то чувство, похожее на стыд, чувство боязни вызвать у Вас презрительное сожаление или что-то похожее на это — вот что я ощущаю, когда я думаю о Вас в связи с войной, с которой я соединял всегда все лучшее, самое дорогое, и, конечно, Вас.

Я когда-то писал Вам, что какое-то чувство, похожее на веру в индивидуальность военного начала, создало представление, что Вы и все то, что для меня связано с Вами, дано мне этим началом. Пускай это будет, с Вашей точки зрения, какой-то мистический бред, одна из диких фантазий, которыми я иногда руководствовался в жизни, но я не могу избавиться от этой веры. Я не буду ни защищать, ни доказывать, ни объяснять этого, но никогда, кажется, я не верил так в индивидуальность войны, как теперь. Так посудите же, милая Анна Васильевна, какой невероятный абсурд возникает в связи с настоящим положением вещей. Проигранная война, то, что не имеет имени и чего не было еще в человеческой истории, а я участник этого феномена по происхождению и положению.

Какое же отношение ко мне этого начала — сущность войны? И на что я могу рассчитывать с его стороны? — думаю, что это отношение, во всяком случае, отрицательное, а тогда все совершенно ясно, и просто, и понятно. Вы знаете мое другое *credo*: виноват тот, с кем случается несчастье, если даже он юридически и морально ни в чем не виноват. Война не присяжный поверенный, война не руководствуется уложением о наказаниях, она выше человеческой справедливости, ее правосудие не всегда понятно, она признает только победу, счастье, успех, удачу — она презирает и издевается над несчастьем, страданием, горем — «горе побежденным» — вот ее первый символ веры.

Я поехал в Америку, надеясь принять участие в войне, но когда я изучил вопрос о положении Америки с военной точки зрения, то я пришел к убеждению, что Америка ведет войну только с чисто

своей национальной психологической точки зрения — рекламы, advertising [рекламы (англ.)]... Американская war for democracy [война за демократию (англ.)] — Вы не можете представить себе, что за абсурд и глупость лежит в этом определении цели и смысла войны. Война и демократия — мы видим, что это за комбинация, на своей родине, на самих себе. Государственные люди Америки понимают это, но они не могут иначе действовать, и потому до сих [пор] американцы не участвовали еще ни в одном сражении и потеряли 3 убитых, 4 раненых и 12 пленных, о чем в Америке писали больше, чем о Марнском сражении. До сих пор американцев нет в первой боевой линии на Западном фронте. Я решил вернуться в Россию и там уже разобраться в том, что делать дальше. Объявление проклятого мира с признанием невозможности вести войну — с первым основанием в виде демократической трусости — застало меня, когда я приехал в Японию. Тогда я отправился к английскому послу Sir Green'у и просил его передать английскому правительству, что я не могу признать мира и прошу меня использовать для войны, как угодно и где угодно, хотя бы в качестве солдата на фронте. Что лично у меня одно только желание — участвовать активно в войне и убивать немцев [*Зачеркнуто*: и другой деятельности я не вижу нигде.]

Я получил ответ от английского правительства, переданный Sir Green'ом, что правительство благодарит меня и просит не уезжать из Японии до последующего решения о наилучшем моем использовании. Ответ был в высшей степени любезный, но, во-первых, он меня связал с пребыванием в Японии, а во-вторых, мне не нравится, что они собираются придумать какое-то для меня назначение, тогда как я хочу только одного — участвовать в войне, где и как угодно.

И вот я уже 2-й месяц в Японии, куда попал, совершенно не думая о возможности такого пребывания. Вы спрашиваете меня, что я делаю. Давно у меня не было такого положения полного безделья, ибо нельзя же считать посылку телеграмм и расшифровку их за дело. Я перечел в пути все книги, какие имел по части American Commonwealth [Американского содружества (англ.)], мне все стало до такой степени отвратительным, что я начал искать забвения в какой-нибудь работе, не имеющей ничего общего с действительностью. Я вспомнил свои занятия в первое плавание на Восток буддийской литературой и философскими учениями Китая, я даже пытался когда-то заниматься китайским языком, чтобы иметь возможность читать подлинники. Я достал несколько трудов по этому вопросу. Я решил познакомиться с учением одной из буддийских сект, известной под именем Зен<sup>8</sup>. Секта Зен — это монашеский орден воинствующего буддизма. Как ни странным покажется Вам это опре-

деление, но это так. Доктрина чистого индийского буддизма, эзотерическое учение Махаяна, развившееся впоследствии в Тибете и Китае из буддизма, философия Конфу-дзы (или Конфуцзы — почему[—то] латинизированное в Конфуциуса или даже Конфуция) с небольшим влиянием японского синтоизма создали это странное учение, представляющее сочетание чистого буддийского атеизма с глубочайшей мистикой, суровой морали стоической школы с гуманитарной философией Конфуция [*Далее перечеркнуто*: Секта Зен интересна для меня еще потому, что задача секты чисто практическая: это укрепление моральной стороны сознания (я умышленно не говорю души — ибо это понятие сектой совершенно отрицается) для борьбы с жизнью. Учение Будды сводится к противопоставлению страданию жизни спокойствия, вызывающегося путем подавления волей желаний, с вечным идеалом нирваны. Зен преследует ту же цель, но в форме не пассивной нирваны, а активного состояния, стремящегося разрушить самое страдание. Буддийские приемы отрешения, отказа, подавления желаний, страсти в секте Зен приняли форму послушания и повиновения и дисциплины, дисциплины совершенно сознательной и добровольной, простирающейся не только на внешние формы, но на внутренние до мышления включительно...].

Свободное добровольное самоотречение чистого буддизма секта Зен заменяет особой дисциплиной в форме, распространяющейся даже на сознание и мышление. Секта Зен смотрит на дисциплину как на известную способность или искусство, которое можно развить определенными приемами, и развитие этой способности составляет одну из задач секты. Военные Японии сразу оценили значение этой секты для войны, и эта секта получила распространение среди военного элемента немедленно по ее возникновении.

Скучно и без конца тянутся дни, нарушаемые изредка только шифрованными телеграммами, для разбора которых приходится ездить в посольство или к морскому агенту (к[онтр]-адм[иралу] Дудорову) в Токио. Но надо ждать, и я жду окончательного ответа. Вы спрашиваете, милая Анна Васильевна, что я делаю, чем занят и каковы мои намерения.

Я живу в гостинице и пребываю преимущественно в одиночестве. В Июкогаме большое русское общество — это в большинстве случаев бежавшие от революции представители нашей бюрократии, военной и гражданской. Не знаю почему, но я в это общество не вошел и не желаю входить. Я сделал два-три визита и получил ответы на них, и этим все ограничилось. Это общество людей, признавших свое бессилие в борьбе, не могущих и не желающих бороться, мне не нравится и не вызывает сочувствия. Мне оно в лучшем случае

безразлично. Кое-какое знакомство чисто официального характера я имею среди нашего посольства, английского и японского военного общества. Я ежедневно вижу, и то на короткое время, с двумя офицерами своей миссии, которые решили разделить свою участь с моей. Преимущественно я один, и в моем положении это самое лучшее. Мысленно и душой (учение буддизма совершенно поколебало мое представление о последней) я всегда с Вами, точнее, с представлением и воспоминаниями о Вас. Это также все, что мне надо с этой стороны существования.

Кроме чтения по буддийской философии, я знакомлюсь с переводом (с английского) рукописи одного японского офицера, переведшего с оригинала книгу стратегии китайского величайшего военного мыслителя Суна<sup>9</sup> (по-яп[онски] Сон) эпохи VI столетия от Р[ождества] Х[ристов]а. Сун, или Бу, совершенно неизвестен на Западе, но он является основателем учения о войне Востока. Для Китая и Японии сочинение Суна классическое и [он] стоит в ряду таких имен, как основатели философских и этических школ, как Конфуций и Менций. Величайшие завоеватели признавали и подтверждали авторитет Суна. Надо отдать справедливость, что при всей странности и образности выражений, затемненных условными формами, при вторичном переводе с чуждого языка книги Суна оставляют глубочайшее впечатление.

В коротких императивных формах заключается такая глубина мысли, такое знание и понимание сущности и природы войны, что, может быть, капитан Colthrop прав, говоря, что перед Суном бледнеет Клаузевиц. Одна из книг (вернее, глав) Суна говорит о победе и выигрыше войны без боевых операций, без сражений. Позвольте привести несколько слов из этой книги: «Высшее искусство войны заключается в подчинении воли противника без сражений; наиболее искусный полководец принудит неприятеля к сдаче без боя; он захватывает его крепости, но не осаждают их; он создает смущение и поселяет недоверие в неприятельской армии; он вызывает вмешательство в управление неприятельской армии со стороны правителей и гражданских властей; он создает политические комбинации среди соседних государств; он делает неприятельскую армию опасной для своего государства; и наконец, он уничтожает неприятельскую армию, лишая ее способности сопротивляться, и со своей нетронутой армией захватывает неприятельские владения». Я не знаю, изучал ли Вильгельм и Гинденбург Суна, но мы переживаем с момента «великой Российской революции» приложение идей Суна на практике, это сущность нашей революции. Но довольно о стратегии. Простите, что я занимаю Вас такими скучными разговорами.



Когда мне надоедают буддийские философы и Сун, я отправляюсь обыкновенно один, иногда со своими офицерами куда-нибудь в Токио или в окрестности. Я иногда посещаю Камакуру в 40 м[инутах] езды по ж[елезной] дор[оге] от Иокогамы, небольшой японский городишко, когда-то бывший центром военного управления Японии, местом учреждения наследственного сиогуна династий Минамото и Ходжо в XII и XIII веках. Когда-то блестящая военная столица Японии была разрушена и уничтожена междоусобными войнами феодального периода и землетрясением. Осталось несколько храмов и колоссальный бронзовый Будда в позе «тихого созерцания», продолжающий сидеть с половины XIII века как бывший свидетель разрушения Камакуры Киотой и Асикагой и уничтожения ее огромной приливной волной, вызванной землетрясением. Этот Будда, или Дай-Бутсу, хорошо известен всем побывавшим в Японии. Он производит удивительно хорошее, какое-то успокаивающее впечатление своей экспрессией созерцания и отрешения от «всех желаний, составляющих источник страдания и горя», пути к нирване, которая выше счастья и несчастья, радости и горя, потому что она ничто. Как странно, что идея этого Будды и начало его сооружения принадлежат первому сиоуну Минамото-но Йоритомо, величайшему, может быть, военному и государственно-му деятелю Японии. Его жизнь — материал для героического эпоса, и, может быть, он потому так ценил мечту о высшем счастье буддийской философии — счастье покоя небытия, — потому что никогда в жизни ею не жил. Но как бы то ни было, а Дай-Бутсу действительно хорош, и, когда мне становится очень уж нехорошо, я отправляюсь к нему с визитом и остаюсь всегда благодарным ему за то, что он дает мне.

Я прилагаю здесь снимок с этого Будды со мной и двумя моими спутниками. 20 лет тому назад я первый раз увидел этого Будду и, право, не думал, что когда-нибудь снова придется познакомиться с ним более подробным образом. В Камакуре есть храм бога войны — Хасимана. Этот храм государственной религии Синто, и в нем обычная для этих храмов пустота, и только старинное, весьма примитивное изображение императора Ожин-Тенно (начала IV в. по Р[ождеству] Х[ристову]), канонизированного впоследствии в виде бога войны, напоминает внутри храма объект поклонения. Зато около храма находится богатейшая коллекция военных реликвий. Микадо, сиоуны и военные деятели передавали после своей смерти свое оружие, которому Хасиман даровал успешное применение. Там хранятся, начиная с Йоритомо, сабли и военные доспехи почти всех сиоунов с клинками великих оружейников Японии, произведения которых надо признать первыми в мире, превосходящими шедевры Дамаска и Индии. К числу достопримечательностей этого храма относится камень, который спо-

собствует дамам иметь потомство [*Далее зачеркнуто*: Как ни странно, но это так.] Этот странный камень (вернее, два среднего размера простых валуна, обнесенных каменной оградой) служат предметом паломничества японок даже в настоящие дни. Легенда об этом камне связана с именем жены Иоритомо — Мази Ходжо, которая испросила у Хасимана сына, впоследствии наследника сиюгуната. Почему она обратилась к Хасиману не по крайности, так как в синтоистской мифологии можно было бы, наверное, найти более подходящее божество, не знаю, вероятно, в силу большей интимности этого бога к фамилии Минамото и Ходжо, всю жизнь занимавшихся войной. Надо отдать справедливость, что Хасиман исполнил несвойственное ему дело наполовину — потомство Иоритомо было совершенно неудовлетворительно, и скоро наследственный сиюгунат перешел по женской линии к свирепым представителям фамилии Ходжо, которых даже японцы называют тиранами и извергами.

Вообще, прошлое Камакуры — сплошная война, место эпических подвигов буси и самураев, давшее высокие образцы величия духа, служения долгу и отвлеченной идее войны, того, что явилось основанием государственного могущества Японии и отсутствие чего [стало] причиной нашего упадка и гибели. Там же находится и первый в Японии по времени и значению монастырь секты Zen. Приор монастыря — европейски образованный человек, говорящий по-английски и по-французски, я познакомился с ним, и он дал мне несколько ценных указаний по буддийской литературе. Я еще в первое плавание на восток довольно много читал по этому предмету — литература, особенно японская, очень велика, но надо знать, что стоит и что не стоит читать. Строго говоря, изучить буддизм можно, зная только китайский язык и древнеиндийские наречия, как и санскрит, что касается до сект, то необходим местный язык секты. В храме этого монастыря очень интересен Будда — насколько знаменитый Дай-Бутсу в Камакуре представляет чисто учение буддизма Ханаяна, настолько Будда в Кеншаджи символизирует эзотерическую Махаяну. Будда там изображен сидящим на огромном лотосе — символ творческого начала жизни, с нимбом вокруг головы, со скипетром и державой в руках — это уже бог, владыка мира, а не просто Будда «просветленный» [*Далее прочерк во всю страницу*].

Между прочим я занимался поисками старинного японского клинка работы одного из знаменитых мастеров, которые теперь достать очень трудно. Я долго ходил по разным антиквариам и наконец нашел клинок работы Го-Иосихиро первой половины XIV столетия. Я кое-что понимаю в этом деле и изучил отличительные свойства и признаки клинков нескольких художников, пользуясь указаниями знатоков этого

вопроса и знакомством с богатейшими собраниями клинков в военном музее в Токио. Передо мной прошли десятки поразительных клинков, пока я нашел то, что искал. Клинки Го-Исихиро являются перво-классными среди 3000 японских оружейников, зарегистрированных с XI-го столетия. Его имя стоит в первом ряду, в котором значится около 10-ти художников, шедевры которых являются несравнимыми [*Далее зачеркнуто*: Они вели регистрацию своих произведений, и она сохранилась в японской литературе с удивительной...]

*Следующая далее часть письма начинается на новой странице и написана, по-видимому, 12 января 1918 г. (30 декабря 1917).*

Итак, сегодня решилась моя (не хочу говорить судьба или участь) дальнейшая программа. Я очень много пережил за последний месяц моего ожидания, длительных телеграфных сношений с крайне удаленными пунктами и сегодня испытываю какое-то облегчение, почти радость. Я не скрываю всей тяжести всей тяжелой концепции (простите, ради Бога, это слово) предстоящего будущего и «не рисую себе картин», но «я служу» снова, служу войне — единственная служба, которую я не только теоретически ставлю выше всего, но которую искренно и бесконечно люблю. Да как же мне иначе относиться к ней, когда все, что я имел лучшего в жизни, я получил через нее, включительно до милых ручек, которые писали мне лучшие слова, которые я когда-либо читал, которые дали мне столько светлого счастья, что ради одних этих ручек стоило бы пойти не только на Месопотамский фронт, но и в гораздо худшее место. Оценивая прошлое, я не могу не признать, что счастье, данное мне, которое я получил в июне и июле, совершенно не заслужено и я должен его заслужить перед войной.

Итак, за эти  $\frac{1}{2}$  года мирной деятельности Вы ушли от меня на расстояние, которое может быть определено разве буддийской кальпой. А это довольно значительное расстояние. Махаяна дает такое указание. Чтобы уяснить, что такое кальпа, представьте гранитную гору; маленькая птичка один раз в год пролетает мимо этой горы и задевает ее крылом; когда от этого повторного прикосновения гора совершенно сровняется с плоской равниной, над которой она возвышается, пройдет одна кальпа. Расстояние, соответствующее кальпе, определяется путем падающего в бесконечность камня, непрерывнодвигающегося в течение этого промежутка времени (закона ускорения Махаяна, правда, не знала). Во всяком случае, получается промежуток времени и пространства совершенно порядка звездных расстояний, определяемых световыми годами. Так вот, милая Анна Васильевна представляется теперь мне удаленной от меня на такую дистанцию — надо служить войне и надеяться, что со временем это расстояние уменьшится и станет вместо 2 или 3-х кальп на одну меньше.

Милая, дорогая Анна Васильевна, простите, что я пишу Вам всякие пустяки, серьезные вещи так невеселы, что не хочется на них останавливаться.

Милая моя, такая далекая и так бесконечно дорогая Анна Васильевна, с какой благодарностью и обожанием я думал и думаю о Вас теперь.

*30 декабря.*

Сегодня день большого значения для меня; сегодня я был вызван Sir Green'ом в посольство и получил от него сообщение, решающее мое ближайшее будущее. Я с двумя своими спутниками принят на службу Его Величества Короля Англии и еду на Месопотамский фронт. Где и что я буду делать там я — не знаю. Это выяснится по прибытии в штаб Месопотамской армии, куда я уезжаю *via* [через (*лат.*)] Шанхай, Сингапур, Коломбо, Бомбей. В своей просьбе, обращенной к английскому послу, переданной Правительству Его Величества, я сказал: я не могу признать мира, который пытается заключить моя страна и равно правительства моих врагами. Обязательства моей Родины перед союзниками я считаю своими обязательствами. Я хочу продолжать и участвовать в войне на стороне [*Далее зачеркнуто: Англии*] Великобритании, т[ак] к[ак] считаю, что Великобритания никогда не сложит оружия перед Германией. Я желаю служить Его Величеству королю Великобритании, т[ак] к[ак] его задача, победа над Германией, — единственный путь к благу не только Его страны, но и моей Родины.

На вопрос посла, какие мои желания в отношении положения и места службы, — я сказал, что, прося короля принять меня на службу, я предоставляю себя всецело в распоряжение Его правительства. У меня нет никаких претензий или желаний относительно положения и места, кроме одного — сражаться — *to fight* [сражаться, воевать (*англ.*)].

В дальнейшем разговоре я откровенно сказал, что я лично не желал бы служить в английском флоте, ибо Великобритания располагает достаточным числом блестящих адмиралов и офицеров и по характеру морской войны надобности в помощи извне не имеется. Но мне бы доставило чисто нравственное удовлетворение служить там, где обстановка тяжела и где нужна помощь, где я не был бы лишним. Пусть правительство короля смотрит на меня не как на вице-адмирала, а [как на] солдата, которого пошлет туда, куда сочтет наиболее полезным.

Вопрос решен — Месопотамский фронт. Я не жду найти там рай, который когда-то был там расположен, я знаю, что это очень нездоровое место с тропическим климатом, большую часть года с холерой, малярией и, кажется, чумой, которые существуют там, как принято медициной выражаться, эндемически, т[о] е[сть] никогда не прекращаются.

Мне известно, что предшественник командующего Месопотамским фронтом умер от холеры. Неважная смерть, но много лучше, чем от рук сознательного пролетариата или красоты и гордости революции. Последнее так же неприятно, как быть заживо съеденным домашними свиньями. Если мне удастся выпустить некоторое количество снарядов с хорошим результатом или участвовать в удачной операции [*Фраза не дописана, выделена (обведена).*]

Стратегическое положение после революционизирования Кавказской армии представляется также крайне тяжелым. Но что это такое. Война прекрасна, хотя она связана со многими отрицательными явлениями, но она везде и всегда хороша. Не знаю, как отнесется Она к моему единственному и основному желанию служить Ей всеми силами, знаниями, всем сердцем и всем своим помышлением. Она ближе, во всяком случае, ко мне, чем мое другое божество, бесконечно прелестное, милое, с «розовой улыбкой» и ручками, такими ласковыми, что хочется молиться на них... Но как служить этому божеству, такому удаленному, — молиться? — я это делаю, но одной молитвы мало. Некий мудрец молился до того, что разбил себе череп, и это не было ни с какой стороны поставлено ему в заслугу — он только приобрел обидное прозвище. Последнее время я думаю преимущественно о ручках ее (не войны, конечно), иное представление о ней (о нем) [*т. е. об Анне Васильевне (божестве)*] скрыто точно туманом «подсознательного бытия», как хочется сказать после чтения истории Махаяны, где трактуется о «No thought No Non Thought Place Heaven» [Не требуется никакого мышления, ничего — хотя место райское (*англ.*)]. Я даже затрудняюсь перевести это определение, спросите у Владимира Вадимовича, что это значит, — Вы говорите, [что] он изучает йогов. По-японски это называется Нисоһиһисоһотен [*Далее в отчеркнутом с двух сторон пространстве листа написано: По учению Махаяны, ближайшее божество находится от нас в расстоянии 5–6 калып*].

В сегодняшнюю ночь я думаю о Вас почти так же, как в ночь в Ставке 1½ года тому назад, когда я писал Вам первое письмо. Вы снова моя мечта, бесконечно отдаленная, безнадежная, но от которой я не могу отказаться и которая так же дорога мне, как тогда, может быть, еще в большей степени. И снова то ощущение мрака и какого-то огромного препятствия — и та же далекая звезда, свет которой создает какую-то радость в душе, благодарность за счастье, которое с ней всегда связано. Я попробовал подойти к ней через проливы и оказался в Йокогаме. «Недурно для начала», — сказал один индийский факир, когда по приказу Махмуда Тоски с него наполовину сняли кожу. Мне остается повторять слова этого философа в рассуждение [о] моей деятельности

во флоте Черного моря. Теперь я начинаю новую с твердой верой в следующее положение. По учению Махаяны, ближайшее божество находится от нас в расстоянии, лежащем между 5-й и 6-й кальпой. Позвольте объяснить Вам, что такое кальпа. Буддийские гностики дают и кальпе совершенно реальное определение [*Далее полстраницы оставлены неисписанными*].

Так вот, я верю, что расстояние до моего божества путем служения войне при полной удаче может быть уменьшено на одну кальпу, и вместо пяти будет около четырех. Разве не стоит этого Месопотамский фронт с холерой в виде бесплатного приложения? Я почти не шучу, я говорю серьезно, что, с моей точки зрения, стоит, хотя бы потому, что ничего другого придумать не могу.

Окончив разговор с Sir Green'ом, я остался некоторое время в посольстве для получения справок о ближайших пароходах, идущих в Индию, и задумался о Вас, конечно, как меня вызвал по телефону к[онтр]-адм[ирал] Дудоров, сообщивший, что пришла на мое имя вализа из Америки. Я получил три Ваших письма и одну открытку. Письма эти от 14 августа, 11 сентября, 16 сентября и открытка от 13 августа. В последней Вы спрашиваете, будет ли большая разница в сроке доставки мне этой открытки и письма, отправленного с вализой через Генмор. Как видите, практически я получил их одновременно 30 декабря, хорошо еще, что того же года. Какое счастье получить эти письма. Ведь каждое письмо Ваше — лучшее, что я могу желать и иметь теперь, и через несколько дней и эта радость станет невозможной на неопределенный, может быть, очень долгий срок. Я получил, по-видимому, все Ваши письма до половины октября — последнее по сроку от 1–15 октября, после этого наступил перерыв, и когда и где он возобновится, не знаю. Но как хорошо в такой день, как сегодня, получить написанное Вашими ручками. Какое счастье читать Ваши слова, говорящие с такой лаской, с таким вниманием о Вашей памяти обо мне, о желании увидеть меня. Что сказать мне в ответ на желание Ваше, высказанное в такие тяжелые минуты, чтобы я вернулся.

Увидеть Вас, побыть с Вами, услышать Ваш голос, испытать вновь радость близости Вашей — да ведь это представляется мне таким счастьем, о котором я не смею сейчас и думать и не думаю. Думать о Вас все время сделалось более чем привычкой, почти моим свойством, но теперь я очень редко [*Далее зачеркнуто*: почти никогда не думаю] думаю о Вас в будущем [*Далее зачеркнуто*: почти никогда не], испытываю желания Вас увидеть. Было время, когда я всегда связывал свои мысли о Вас с мечтой или надеждой Вас увидеть, теперь я думаю о Вас в связи с прошлым, с воспоминаниями. Я не могу точно объяснить Вам, почему это так. Мне очень тяжело думать об этом [*Далее зачеркнуто*:

о будущем], связывать будущее с Вами — мысль эта иногда приводит меня в состояние такой отчаянной тоски, что развитие ее, право, может навести [на] мысли о том, что японцы деликатно называют «благополучным выходом». И я боюсь этого состояния, которое временами неожиданно находит на меня, как короткое очень мучительное состояние, из которого стараешься выйти какой угодно ценой. Прошлое определено и понятно, будущее представляется таким [*Далее зачеркнуто*: ужасным] отрицательным и в отношении самого себя, и со стороны Вашего отношения ко мне, что я, может быть, по малодушию избегаю представлять Вас в будущем. В буддийской философии есть поразительное представление о двойном отрицании: есть три формы существования: положительное — быть; отрицательное — не быть; двойное отрицательное — не не быть; последнее — совершенно особое сверхсознательное представление, отличное от первого и второго. Реального представления этого существования [нет] сознания. Мне кажется, что в отношении Вас в будущем представлении я могу сказать в двойной отрицательной форме: я не не желаю Вас видеть. Что это такое — я сам не знаю.

Вы не рассердитесь на меня, милая, дорогая Анна Васильевна, за этот буддийский философский вздор<sup>10?</sup> На днях, когда я усиленно им занимался, я получил по почте Вашу открытку от 5 сентября — это был мой Рождественский подарок. Позвольте мне сказать несколько слов о нем. Помните ли Вы эту открытку. Она — снимок с картины, судя по надписи, Log. Mayer'a (вероятно, немец). Картина изображает даму, держащую в руках небольшую статуэтку Будды, симметрия позы и выражение лица дает экспрессию глубокой задумчивости, почти самоуглубления. Самое замечательное в этой картине — это световой эффект, по-видимому выполненный художником, как говорится, с умом; невидимый источник света исходит как бы от статуэтки Будды и распространяется между сложенными симметрично руками и освещает снизу лицо изображенной особы, как бы созерцающей этот свет. Кажется, это называется «idols» [кумиры (*англ.*)]. Я получил эту открытку, занятый разбором одного из положений буддизма, трактующего об особом состоянии, достигаемом самоуглублением, состоянии, называемом «джаной». Было бы неинтересно и долго разъяснять эту глубокую буддийскую мистику, пытающуюся познать то, что лежит за пределами нормального сознания. Это, не правда ли, странное совпадение. Вы, наверное, не думали на эту тему, когда писали в этой открытке «надо же было выбрать самое далекое место на свете, чтобы туда уехать», и вслед за этим я был вызван к телефону, по которому Sir Green меня уведомил, что правительство Великобритании, с удовольствием принимая мое предложение, просит меня не уезжать до окончательного



решения вопроса о месте, где это предложение могло бы быть использовано наиболее выгодным для войны «образом». Это место гораздо удаленнее, чем Соединенные Штаты, не географически, а в смысле трудности сообщения, прибытия и возврата оттуда. Мне очень нравится эта символическая открытка, быть может символизирующая гораздо больше, чем я написал, и которую Вы послали, вероятно совершенно не думая о том значении, которое она для меня получила.

Дорогая, милая, обожаемая моя Анна Васильевна,

Вчера вечером я окончил свое рекордное письмо Вам — в 40 страниц <...> которое передал лейтенанту Мезенцеву<sup>11</sup>, уезжающему в Россию. Он предполагал заехать в Петроград и передать В. В. Романову пакет на Ваше имя. Никогда в жизни, кажется, я не писал такого письма — правда, оно написано не в один день, но все-таки я немного боюсь, что Вы не то что рассердитесь (я верю в Вашу доброту и снисходительность к моим странностям), а просто будете немного недовольны таким нелепым посланием из буддийской метафизики. Но, может быть, чтение этой метафизики на несколько минут отвлечет Вас от невеселой действительности и Вы великодушно меня простите.

А сегодня вечером мне стало невероятно скучно. Все теперь готово к отъезду, и я жду прибытия парохода «Montengle» для отправления в Шанхай, где буду ждать другой пароход, «Dunera», идущий в Бомбей. Я один, и читать Махаяну мне решительно не хочется. Даже Сун мне надоел, и я посадил Вуича переводить рукопись. Я затопил камин, поставил Ваш портрет на стол и долго говорил с Вами, а потом решил Вам писать. Когда дойдет это письмо до Вас, да и дойдет ли? Где Вы, моя милая, моя дорогая Анна Васильевна, в Кисловодске ли Вы, или в Бочево, или, может быть, в Гельсингфорсе? Не задаю вопросов — Вы знаете, что все, что относится до Вас, мне так дорого, что Вы сами ответите мне.

Сегодня я прочел в газетах про двухдневные убийства офицеров в Севастополе — наконец-то Черноморскому флоту не стыдно перед Балтийским. Фамилий погибших, конечно, не приводится, но думаю, что погибло много хороших офицеров. Из Севастополя, где была моя семья, я имею известия только от сентября. Никаких ответов на мои телеграммы, письма нет. Офицеры, которые туда отправились с моими письмами, ничего не сообщают, и я не знаю, доехали ли они до Севастополя. Что с моей семьей, что с моими друзьями случилось в эти дни, я ничего не знаю. Нехорошо, очень плохо.

Как Вы страдаете, вероятно, моя милая Анна Васильевна. Как Вам себя чувствовать, Вам, с такой прелестной, так много понимающей душой, любящей нашу Родину, при такой обстановке, которой решительно не находишь имени.

За эти полгода, проведенных за границей, я дошел, по-видимому, до предела, когда слава, стыд, позор, негодование уже потеряли всякий смысл, и я более ими никогда не пользуюсь. В вере в войну и в думах о Вас я только и могу найти облегчение и иногда забвение и своего ужасного положения, и того, что делается в нашем флоте, на фронте и повсеместно на Родине.

Что я делал бы без Вас, милая моя Анна Васильевна. Война дает мне силу относиться ко всему «холодно и спокойно», я верю, что она выше всего происходящего, она выше личности и собственных интересов, в ней лежит долг и обязательство перед Родиной, в ней все надежды на будущее, наконец, в ней единственное моральное удовлетворение [*Далее зачеркнуто*: Она дает право с презрением смотреть на всех политиканствующих хулиганов и хулиганствующих политиков, которые так ненавидят войну и все, что с ней связано в виде чести, долга, совести, потому что прежде всего и в основании всего они трусы. Поверх двух последующих абзацев письма, наискосок, написано: Все равно я так далек, что какие-нибудь тысячи миль не имеют значения, но, несмотря на это, я всегда с Вами хотя бы в воображении.]

Можно, конечно, жить с этой верой, можно иметь право существовать [*Далее зачеркнуто*: обратившись в автоматическую военную машину], отбросив все решительно остальное, но как. Но в Вас я нахожу и мое счастье и радость даже в это время, когда казалось бы, что даже слова утратили значение. Нет, эти слова имеют смысл благодаря Вам. Воспоминания о Вас, Ваши письма, просто думы о Вас — все это так хорошо, что иногда кажется каким-то прекрасным сном, который больше не повторится. Да если бы он и не повторился, так что ж — война ведь выше справедливости, выше личного счастья, выше самой жизни. Она дала мне это счастье, и она отнимает его; если захочет, то и с жизнью в придачу [*Поверх двух последующих фраз написано*: Мечты о Вас в каюте командующего и в походных рубках кораблей и миноносцев в долгие беспокойные ночи походов и операций.] Стоит ли об этом думать, когда вспоминается сад Ревельского собрания, мой отъезд на юг, Ваши письма, моя поездка в Петроград в апреле, когда я почувствовал, что война отвернулась от меня, и я решил, что и Анна Васильевна последовала ее примеру. Теперь мне даже немного смешно вспоминать свое обратное путешествие в Севастополь в вагоне-салоне, свой приезд, прибытие на корабль, но тогда я был в состоянии, вероятно, отчаяния. А тут кругом шел последний развал и крушение всего, какие-то хулиганствующие политиканы, и просто хулиганы, и озверевающая, одичавшая от сознания полной безнаказанности и свободы любого преступления толпа. Еще раз, несмотря на дикое отчаяние в душе и безразличие, овладел

этой толпой, подчинил ее себе, отправил Черноморскую делегацию с призывом к войне... Большой Генеральный штаб мне не простил этой выходки...

Опять Петроград и встреча с Вами; часы, проведенные около Вас, — Господи, какое счастье, от которого все отрицательное как-то ставилось в сторону и забывалось все: и болтающий языком гимназист 5-го класса, вылезший против Гинденбурга и Макензена<sup>12</sup> с «братающей» армией спасать «революцию», и «краса и гордость революции», и приближавшийся проигрыш войны, с верным, как смерть, «горем побежденным». Но вот Ваш отъезд, и снова наступил какой-то липкий прежний туман, беспросветный, с каждым часом все сгущающийся... Встреча с Гурко, Гучковым, отъезд за границу, Лондон, полет на «Large America» в Северном море, blue water [голубая вода (англ.)], палуба «Gloucestershire» с милейшим captain'ом [капитан 1-го или 2-го ранга (англ.)] Wilson, Halifax (уже разрушенный взрывом), Washington, Newport War College, теплые ночи в водах Гольфстрима на палубе «Pennsylvania», решение ехать домой, Chicago, Grand Canyon и далее Yosemite, Тихий океан, Сандвичевы острова и, наконец, Япония. И все это с постоянной думой о бесконечно прелестном, светлом, чарующем образе с розовыми ручками, писавшими мне письма, читая которые мне иногда казалось, что эти ручки так же близко от меня, как они были в июльские дни. Наконец, Sir Green и служба Его Величеству Королю, и вот я сижу в ожидании «Montengle» в комнате, где провел больше месяца, непрерывно думая о Вас. Я уже все уложил, даже письма Ваши, и только две маленькие фотографии в складном porte-cartes [планшет, походная сумка для морских и военных карт (фр.)] стоят передо мною на столе и... Милая, дорогая Анна Васильевна, простите, что я так надоедаю Вам одним и тем же, не сердитесь на меня за слишком большое использование почтовой бумаги. Надо окончить письмо [Далее зачеркнуто: и передать его одному надежному лицу, которое и доставит его в Петроград]. Позвольте мне еще раз поцеловать Ваши ручки, которые для меня являются [На этом текст обрывается.]

*Shanghai 29/16. I. 1918 г.*

Дорогая, милая моя, обожаемая Анна Васильевна,

Вчера я прибыл на «Montengle» в Shanghai, и снова приходится сидеть в этом чужом городе и ждать «Dunera», которая опоздала и уйдет на юг только через неделю. Я когда-то хорошо знал Shanghai и провел в нем не один месяц. Кое-что переменялось здесь, но в общем все осталось то же. Я первый раз был здесь в годы нашего империализма на Востоке, когда я с гордостью чувствовал себя русским офицером и чуть ли не хозяином положения, — теперь я в этом городе

по приказанию правительства Его Величества короля Великобритании. Мне тяжела любезность и предупредительность английских властей и всех, с кем я имею дело, — я еще не начал фактически новой службы. Я предпочел бы, чтобы обо мне никто не знал и не говорил, — но ничего не поделаешь, приходится считаться с отношением ко мне как вице-адмиралу [*Далее зачеркнуто*: а какой же я теперь вице-адмирал?] со стороны и английского и русского общества.

Мне тяжело — прошлые воспоминания каким-то камнем ложатся на душу, — и я прибегаю к единственному средству забыть все это — думать и говорить с Вами. Ваши фотографии стоят передо мной, и милая, обожаемая Анна Васильевна со своей всегда прелестной улыбкой точно смотрит на меня так же, как в те немногие дни, когда я видел ее в действительности [*После исправлений последней фразы конец письма перечеркнуто*: ...так близко, сидел около нее и говорил с нею. Повторятся ли когда-нибудь эти дни. Надо быть так далеко, как мне пришлось в последние месяцы, чтобы оценить, что такое видеть Анну Васильевну, быть около нее. Ведь не сон же были семь месяцев тому назад дни, когда Анна Васильевна была в Петрограде, ходила со мной и ездила по улицам Петрограда, когда я держал ее милые, прелестные ручки; а может быть, этого совсем не было. Неужели же никогда это больше не повторится... Приходится встать на философско-историческую почву и признать, что если даже это и не повторится, то прошлое, связанное с Анной Васильевной, было так хорошо, что остается только благодарить то высшее начало, которое дало это счастье. А дальше — пусть будет то, что будет.]

*30. I. 1918 г.*

Меня устроили в Shanghai Club. Это почтенный английский клуб, быть может, лучший на Дальнем Востоке по обстановке и комфорту, которые могут быть созданы только великой английской культурой. Но меня не радует и [мне] не доставляет удовольствия эта культура, когда я думаю о своей Родине, о том, в каких условиях, может быть, приходится жить Вам и всем, кто решился остаться дома. Поскорее бы к обстановке войны, где я буду чувствовать себя точно вернувшись «домой». Другого дома теперь у меня нет и быть не может.

Милая, дорогая Анна Васильевна, временами под влиянием отрывочных известий из России, оставляющих впечатление какого-то сумасшедшего бреда, мне кажется, что Вы, получив мои последние письма, будете недовольны моим решением и, может быть, отвернетесь от меня. Если бы Вы знали, как тяжело для меня это представление. Моя вера в войну, ставшая положительно каким-то религиозным убеждением, покажется Вам дикой и абсурдной, и в конечном результате страшная

формула, что я поставил войну выше родины, выше всего, быть может, вызовет у Вас чувство неприязни и [*Далее зачеркнуто*: справедливого] негодования. Я отдаю отчет в своем положении — всякий военный, отдающий другому государству все, до своей жизни включительно (а в этом и есть сущность военной службы), является кондотьером с весьма сомнительным на идейную или материальную сущность этой профессии. Как посмотрите Вы на это — я не знаю. Но меня, конечно, заботит этот вопрос, вопрос, существенный для меня только в отношении Вас, и только Вас. Минутами делается так тяжело, что кажется ненужным и безнадежным писать это письмо Вам.

Милая моя, так бесконечно дорогая моя Анна Васильевна, никогда, кажется, я не чувствовал такой безнадежной отдаленности от Вас, и географической, и по обстановке, и по времени, которое отдаляет Вас от меня, оставляя какую-то смутную фантазию когда-нибудь, где-нибудь Вас увидеть. Хотя бы поскорее попасть на фронт и найти там «отдых»; кажется, первый раз в жизни я чувствую, что «устал», и хочется временами «отдохнуть» [*Далее в отчеркнутом с двух сторон пространстве листа написано*: все кажется уже потерявшим всякий смысл и значение.]

[*Позднее 30 января 1918 г.*]

[*Датируется по предыдущему письму.*]

«Dunega», которую я все время ожидал, привезла пренеприятный сюрприз — чуму. В результате карантин, дезинфек[ционные] работы, и отход отложен на десять суток. Другого парохода в Индию нет, несмотря на мою готовность идти хоть на грузовом пароходе. Подводная война сказывается на всем мире, и сообщения теперь невероятно длинные и трудные. Приходится сидеть в Шанхае и ждать, когда чума на «Dunega» будет искоренена. С какими только препятствиями не приходится встречаться в жизни. А я чувствую необходимость скорее попасть на фронт... и мое вынужденное бездействие — худшее, что может быть теперь. И вот я опять целыми днями один [*Далее зачеркнуто*: целыми днями сижу один, изучая буддийскую философию, Месопотамский театр и английскую службу Генерального штаба. В промежутках между этим занятием я отправляюсь куда-нибудь бродить по Шанхаю и думаю о милой, далекой Анне Васильевне. Вечером я сажусь около камина и разговариваю с Вашей фотографией.] Отсутствие сведений из России — Ваше письмо от 14 октября — последнее известие с Родины, из Севастополя письма я имею только от половины сентября — очень тяжело, — временами такая находит тоска, что положительно не можешь найти места. Это много даже для меня. От офицеров, уехавших с поручениями и письмами в Россию, нет также никаких

известий. Нехорошие и невеселые мысли приходят в голову, и, чтобы отделаться от них, я обращаюсь к Вам.

Сегодня я целый день занимался изучением английских инструкций по полевой службе. Приходится привыкать к английской терминологии, хотя предмет для меня знакомый. Эти дни ожидания, когда утром ждешь вечера, а вечером думаешь, как бы скорее он кончился, надоели мне до невозможности [*Далее зачеркнуто*: Я начал позже вставать, чтобы сократить день.] Я живу, как уже писал, в Shanghai Club совершенно один, т[ак] к[ак] ни с кем не знакожусь и избегаю с кем-либо встречаться. Мои офицеры изредка заходят ко мне, но говорить нам решительно не о чем. Утром я занимаюсь Месопотамским театром, завтракаю и иду куда-нибудь на прогулку, возвращаюсь к себе и сажусь изучать английские regulations и instructions [уставы и инструкции (*англ.*)], после обеда я зажигаю камин, ставлю на стол Ваши фотографии и читаю что-либо по военной истории или буддийскую философию или хожу по комнате и думаю о Вас. Изредка этот режим нарушается каким-нибудь официальным приглашением к обеду или посещением стрелкового общества, где я занимаюсь стрельбой. Вот и все. Иногда по вечерам становится крайне тяжело, даже думы и воспоминания о Вас вызывают только чувство тревоги и горькое сознание своего бессилия что-либо не только сделать, но даже узнать, что делаете Вы, где Вы и как переживаете это время, которому нет имени. Приходится прибегать к одному средству — это привести себя в состояние отсутствия мыслей. Я выучился этому в Японии.

Оттуда я увез с собой два старинных сабельных клинка. Я, кажется, писал Вам о японских клинках. Японская сабля — это высокое художественное произведение, не уступающее шедеврам Дамаска и Индии. Вероятно, ни в одной стране холодное оружие не получило такого значения, как в Японии, где существовало и существует до сих пор то, что англичане называют cult of cold steel [культ холодной стали (*англ.*)]. Это действительно культ холодной стали, символизирующей душу воина, и воплощением этого культа является клинок, сваренный из мягкого сталеватого магнитного железа с лезвием поразительной по свойствам стали, принимающим остроту хирургического инструмента или бритвы. В этих клинках находится часть «живой души» воина, и они обладают свойством оказывать особое влияние на тех, кто относится к ним соответствующим образом. У меня есть два клинка: один начала XIV века, произведение одного из величайших мастеров Го-но-Иосихиро, другой конца XVII века работы Нагасоне Котейсу, одного из учеников величайшего художника Масамуне. Этот клинок принадлежал самураю Ямоно Хизахиде и был испытан согласно традициям школы Масамуне. Я не буду говорить Вам об этих традициях.

Когда мне становится очень тяжело, я достаю этот клинок, сажусь к камину, выключаю освещение и при свете горящего угля смотрю на отражение пламени в его блестящей поверхности и тусклом матовом лезвии с характерной волнистой линией сварки стали и железа. Постепенно все забывается и успокаивается и наступает состояние точно полусна, и странные, непередаваемые образы, какие-то тени появляются, сменяются, исчезают на поверхности клинка, который точно оживает какой-то внутренней, в нем скрытой силой — быть может, действительно «частью живой души воина». Так незаметно проходит несколько часов, после чего остается только лечь спать.

Несколько дней тому назад после обеда я зашел в reading-room [читальный зал (*англ.*)] и, взяв первую попавшуюся книжку, сел у камина, намереваясь подумать о Вас. Но в этот вечер Вы почему-то были очень далеки от меня, и мысли о Вас вызывали только какое-то тревожное чувство боязни не то за Вас, не то за Ваше отношение ко мне, которое мне представлялось изменившимся после получения Вами известий о моей новой службе. Я раскрыл взятую книжку — это была одна из многочисленных брошюр, распространяемых английской и французской печатью, с описанием нарушений всех «божеских и человеческих» (интернациональных) законов, произведенных немецкими войсками при вторжении во Францию и особенно после вынужденного отступления. Длинный однообразный перечень разрушения, убийства, без различия пола и возраста, грабежей, насилий, планомерного истребления всего, что имело какую-либо ценность: истребление фруктовых садов, уничтожение сельскохозяйственных орудий, отравление колодцев, формальное осуществление рабства, грубое издевательство над честью, религией и историческими ценностями...

Все это изложено в тоне величайшего возмущения и негодования по адресу гуннов XX столетия, доходящего со стороны французов до явно выраженного чувства мести, способного проделать в Vaterland'e [Отечество (*нем.*)] все то, что его обитатели произвели на территории Belle France [Прекрасная Франция]. Я бросил брошюру и взял другую — эта оказалась еще хуже. Это было описание истребления армянского населения в Турции с упоминанием имен генералов Гольца<sup>13</sup>, Фалькенгайна<sup>14</sup>, Лимана<sup>15</sup> и проч. Все это мне было уже давно известно, и я бросил и эту книжку и [Далее зачеркнуто: задумался о том странном противоречии, которое сквозит во всех этих произведениях.] стал просто смотреть на горящий в камине уголь, стараясь ни о чем не думать. Подошедший китайский «воу» [слуга (*англ.*)] передал мне визитную карточку. На ней с несколькими японскими иероглифами было по-английски отпечатано Yamono Konjuro Hisahide<sup>16</sup> — менее всего я ожидал встретить этого



полковника Генерального штаба в Shanghai — простившись с ним в Yokohama, я не думал о новой с ним встрече.

Но Вам ничего не говорит эта японская фамилия, поэтому позвольте представить Вам моего знакомого и сказать о нем несколько слов. Я считаю это знакомство одним из самых интересных, какие я имел в жизни, а мне доводилось все-таки довольно много иметь разных встреч и знакомств.

Когда я ожидал в Yokohama решения правительства Его Величества Короля Великобритании о моей службе, меня пригласил пообедать в Tokio Club один майор английской армии, возвращавшийся в Англию с Месопотамского фронта после тяжелой болезни, которая вывела его надолго из строя. После обеда мы перешли в кабинет покурить, и майор продолжил свой рассказ о Месопотамии, когда к нам подошел японский офицер и, поздоровавшись с англичанином, попросил представить его мне. Мы познакомились. Это был полковник Hisahide, недавно вернувшийся через Россию с Западного фронта, где он находился около года в английских и французских войсках в качестве военного атташе. Мне совершенно понятна была его роль на Западном фронте и даже не удивила его поездка через Скандинавию и Россию. Он был совершенно осведомлен обо мне, знал, что я только что вернулся из Америки, и я понял, что его интересует и почему он пожелал со мной познакомиться. Мы скоро обменялись визитами, и я пригласил его пообедать со мной.

Hisahide — это типичный представитель японского милитаризма. Я узнал о нем гораздо больше со стороны, чем, может быть, он сам этого желал. Это человек, для которого война является религией и основанием всей духовной жизни, всего мирозерцания. Он один из столпов Bushido — морального кодекса японских буси и самураев, последователь секты Zen, о которой я писал Вам как о секте воинствующего буддизма, практикующего Zo-Zen (сидеть по способу Zen) для сосредоточения своего мышления и воли над военными вопросами. Он один из признанных деятелей секретного панмонгольского общества, в программе которого говорится, что члены его, работающие для осуществления панмонгольских идеалов, должны быть связаны и проникнуты этим идеалом наподобие религиозной секты. Hisahide является фанатиком панмонгольского милитаризма, ставящего конечной целью ни более ни менее, выражаясь деликатней, экстерилизацию индоарийской расы, которая отжила свою мировую миссию и осуждена на исчезновение. Никто из японцев не говорит об этом, более того, на прямой вопрос вы всегда получите ответ, что никакого панмонголизма не существует, что это фантазии небольшой группы шовинистов, — но я утверждаю, что масса военных людей (а в Японии

этот класс, помимо явно выраженного в военнотружущих, является самым многочисленным и политически сильным) если видит сны, то только на тему о панмонгольском мировом господстве, и старая легенда о Yoshitsune Minamoto в виде Джен-Чике и далее в образе Темму-дзина Великого Хана Чингиза, может быть, никогда не имела так много сторонников, желающих ее повторения, как в эти дни.

Теперь Вам понятна фигура Yamono Hisahide, приехавшего неожиданно в Shanghai [*Далее зачеркнуто*: очевидно, не для свидания со мной и не для какого-либо развлечения.] Между мной и Hisahide установились отношения, которые, не имея ничего общего с дружбой или даже приятностью, возникают между людьми одних и тех же мыслей и взглядов, — это своего рода профессиональный интерес или симпатия, которую военный испытывает к военному, даже своему непосредственному врагу на поле сражения. Я помню, что мне было очень приятно встретиться с командиром японской батареи [после] двухмесячного взаимного искоренения, и его похвала моей работы была одним из самых приятных комплиментов, которые мне доводилось слышать. Hisahide после участия во взятии Цингтау, на чем закончилось активное участие японцев в настоящей войне, отправился в Европу изучать войну на европейских фронтах — он изучал ее как настоящий военный, участвуя во многих делах активно, живя все время в штабах и окопах передовой линии, делая наблюдения с привязных шаров и аэропланов. Его громадная военная эрудиция, осведомленность во всех военных вопросах, при отношении к войне как к религии, делали всякую беседу с ним полезной, много интересней лекций по военной схоластике, которые я слушал [*Далее зачеркнуто*: от профессоров] в двух военных академиях. Его интересовали некоторые вопросы нашей армии и флота, мои сведения об Америке — мы были интересны и полезны друг для друга.

В общем мы встречались раз пять за мое пребывание в Японии. Hisahide был искренно удивлен моими знаниями военной японской истории и моей осведомленностью по многим мало знакомым для европейцев вопросам японской жизни, имеющим отношение к войне. Я просто ответил ему на вопрос, почему меня так интересовала Япония, что я всегда считал Японию врагом своей страны, считаю и в будущем ее за такового же и естественно для военного интересоваться и изучать своего противника. Но особенно расположили его ко мне мои знания старинного японского культа «холодной стали» и этикета в обращении с оружием. Я попросил как-то показать мне клинок его сабли, он на мгновение задумался и, видимо, решил посмотреть, знаю ли я правила, как это надо делать. Он подал мне саблю, и я принял ее, как полагается в этом случае; я знал, что обнажить клинок более чем

до половины без приглашения хозяина считается неприличным, а вынуть саблю совсем из ножен без просьбы владельца прямо недопустимо и проч[ие] мелочи, которые кажутся пустяками, но на которые японцы обращают большое внимание. Я был занят в это время поисками старинного японского клинка, в чем Hisahide оказал мне большую помощь. Вместе с ним я отправился в старинный музей Юшукун, где находится огромное собрание японского старинного оружия, и здесь на образцах величайших оружейных мастеров Японии и, надо думать, всего мира он показал мне характерные особенности и признаки клинков Масамуне, Мурамаса, Иосимитсу и проч[их] художников, основателей школ, давших величайшие произведения искусства — искусства, по убеждению японцев совершенно божественного происхождения. Благодаря его любезности мне удалось приобрести два клинка — один начала XIV столетия, работы одного из первоклассных 5 или 6 художников — Го-но-Иосихиро, другой — конца XVII века, работы Нагасоне Котейсу — одного из 10-ти учеников гениального Масамуне; этот клинок испытан согласно традициям школы Масамуне, но я не буду говорить Вам об этих традициях.

Вместе с Hisahide я посетил храм Ясукуни, посвященный душам павших воинов, и храм, где похоронены 47 ронинов, покончивших с собой по всем правилам «сеппуку» или «благополучного выхода» из затруднительного положения; последнее создалось потому, что они принесли голову одного из феодальных вельмож своего господина даймио Асано, мстя за его «благополучный выход», совершенный по вине этого вельможи. Эти 47 ронинов, свою жизнью подтвердивших высшую добродетель военного — лояльность и верность, — сделались национальными героями Японии, и их могилы служат предметом паломничества всех военных.

Кажется, я довольно ясно описал наши взаимоотношения, и личность Yamono Hisahide Вам, вероятно, достаточно понятна.

Совершенно неожиданно Hisahide появился в Shanghai и, зайдя в Shanghai Club, узнал о моем пребывании и решил навестить меня.

Из нескольких слов я понял, что он отправляется в Южный Китай по делам, связанным с происходящим там восстанием против существующего правительства Небесной Республики. Я не расспрашивал о его миссии, зная, что подобные вопросы не всегда бывают деликатны. Мы перешли в один из кабинетов, сели у камина и начали разговор, конечно, о войне. Hisahide первый его поднял, спросив у меня, прочел ли я только что появившееся в газетах мнение некоторых японских военных и политических деятелей о будущем мире и отношении к нему Японии. Я вынул записную книжку и [Далее зачеркнуто: молча] показал ее Hisahide — я вписал только что туда цитаты из сообщения

по этому вопросу адмирала Kato, профессора университета в Токио Tange Tatebe и других японцев, высказавшихся, очевидно по благословию «генро» (тайного государственного совета), в прессе под заглавием «*Militarism or liberalism after war*» [«Милитаризм или либерализм после войны» (*англ.*)]. Эта статья была похожа на откровение; японцы молчали как рыбы и вдруг заговорили ясно, просто и понятно.

Hisahide был страшно доволен моим вниманием к этой статье.

«Я хочу поговорить с Вами по этому вопросу, — сказал Hisahide, — у нас с Вами общая точка зрения, мы понимаем друг друга. Вы выразитель того, что общие наши противники называют «милитаризмом». Мы с Вами знаем, что единственная форма государственного управления, отвечающая самому понятию о государстве, есть то, что принято называть милитаризмом [*Далее зачеркнуто*: Мы знаем, что дисциплина есть основание свободы, скажу более, что дисциплина, по существу, есть истинное выражение свободы.]. Ему противоположают понятия либерализма и демократии. Каково практическое значение этих понятий, мы видим на текущей войне. Весь западный мир с помощью Востока не может в течение 3½ лет справиться с Германией, имея численное и материальное превосходство по крайней мере в 5 раз над противником. Вы знаете, почему это, — сущность войны неизменна и проста, ее цель также совершенно определена — чтобы вести успешно войну, надо прежде всего ее желать. Разве можно что-либо делать без желания? Конечно, можно, но как и какие результаты получатся при наличии соперничества со стороны того, кто желает. Говорить о материальном превосходстве и подготовке на четвертый год войны не приходится. Но «демократия» не желает войны, а милитаризм ее желает. Текущая война есть борьба демократического начала с милитаризмом [*Далее зачеркнуто*: также аристократическим началом.] В сущности, теперь уже для решения вопроса о значении того или другого начала неважно, кто окажется победителем и будет ли еще таковой даже при указанном отношении противников, как 1 к 5. Для нас все ясно, и мы высказались<sup>17</sup>. Вот смысл статьи «*Militarism or liberalism after war*».

Вы выписали цитату Zenjiro Horigoshi<sup>18</sup> о «белой опасности» для нас, восточных народов. Автор видит ее в одичании и озверении народов Европы благодаря войне, в презрении, высказанном ими ко всем понятиям о человечности, справедливости и праве и [в] возможности агрессивных действий в этом смысле... Я не буду защищать Horigoshi; скажу более, я не вижу в этом одичании никакой опасности для нас лично, но я вижу ее в другом — это [в] моральном разложении, выдуманном демократической идеологией, и связанными с ними учениями пассивизма, социализма и тесно связанного с ними интернационализма.

Это, с нашей точки зрения, действительно «белая опасность» [Далее зачеркнуто: ибо наш желтый монгольский мир.], и мы примем меры для ее локализации и в случае надобности вступим с ней в борьбу и постараемся ее уничтожить. Вы удивляетесь моей откровенности — она просто проистекает из сознания нашей силы, нашего превосходства [Далее зачеркнуто: над вашим бессилием — я не говорю о Вас лично, тем более о Вашей Родине, павшей жертвой того, с чем мы готовы вступить в борьбу.] — я говорю с Вами как представителем той расы, которая идет к гибели путем т[ак] наз[ываемой] «демократии».

Вы знакомы с целями и лозунгами, выставленными державами Согласия. О них достаточно много говорил Lloyd George<sup>19</sup>, а больше всего Wilson; последний каждую неделю повторяет скучнейшие положения для утешения демократии: война за демократию, даже для спасения демократии, война для самозащиты, война за право, за самоопределение народов, война против автократии, наконец, против милитаризма и война войне. Трудно представить себе что-либо более жалкое, чем это глупое демократическое ипокритство [греч. — лицемерие, притворство].

Конечно, Wilson и тем более английские государственные деятели понимают всю бессмыслицу этих целей и положений. Но они находятся под давлением «демократии», и последнюю надо убедить воевать хотя бы для собственного спасения, ей надо лгать, ибо в противном случае она пойдет за первым же германским агентом (как это сделала ваша демократия), который пообещает какую угодно ложь, которая демократии может нравиться. А воевать демократия решительно не хочет, и вот результат приложения демократического начала к войне с пятерным превосходством над противником, ведущим войну по правилам милитаризма. Сильнейшие державы, как Великобритания и Франция, задыхаются от усилий вести войну с врагом в лице средневропейского Германского союза, который численно и материально слабее их. Почему это? Англичане и французы имеют отличный, наилучшего состава корпус офицеров, войсковая масса в известной части у них настроена воинственно и отлично дерется, о материальной стороне и говорить нечего. Вам понятна причина... она лежит в демократическом начале. Войну ведут теперь не только армии, но все государства, а управляют ими люди совершенно не военные, принципиальные противники войны — как, напр[имер], социалисты. Вы понимаете, что я вовсе не имею в виду военный мундир, но государственный деятель во время войны должен быть военным по духу и направлению. Посмотрите на состав кабинетов европейских держав, про Америку я не говорю,  $\frac{3}{4}$  лиц, в них участвующих, не только бесполезны, но прямо вредны для своей страны, ибо они участвуют в решениях, расходящихся со всей их иде-

ологией и принципами. Эти лица вынуждены все время заигрывать с демократией, и вот в результате создается атмосфера величайшей лжи и ипокритства, выраженных в формуле «война — войне». Что такое демократия? — Это развращенная народная масса, желающая власти; власть не может принадлежать массам, большому числу в силу закона глупости числа: каждый практический политический деятель, если он не шарлатан и не мошенник, знает, что решение 2-х людей всегда хуже 1-го, 3-х хуже 2-х и т.д., наконец, уже 20–30 человек не могут вынести никаких разумных решений, кроме глупостей.

В мирное время последствия глупостей становятся очевидными и их исправляют, сменяя время от времени таких борцов и заменяя их новыми, но в военное время исправлять глупости очень трудно и они приводят к катастрофам, зачастую совсем непоправимым. Я говорил со многими французами и англичанами — среди них очень много почтенных воинов, — они все это понимают, но что делать — демократическое правительство боится больше всего превосходства военного командующего состава — мало-мальски способный генерал представляется уже опасным для депутатов демократии, его надо убрать, и только страх за неудачи и проигрыш кампании удерживает «демократию» от устранения всего талантливое командного состава. Простите, я обращаюсь к примеру, который дала ваша страна, — ваша демократия высказала откровенно все то, что западная демократия не высказывает, но в душе она думает так же. Она даже попробовала вести войну под высшим командованием присяжного поверенного и социалиста и кончила безграмотным прапорщиком, кажется, евреем. Демократия не выносит органически превосходства, ее идеал — равенство тупого идиота с образованным развитым человеком. Но воевать идиоты не могут, и в этом вся их трагедия, и они инстинктивно понимают свое бессилие в войне, ненавидят ее и объявляют ей... войну. «Демократическая война» — войне, с идеалом вечного мира, разоружения и интернационального трибунала... Мы откровенно говорим европейской демократии: попробуйте, разоружитесь, мы только будем благодарны вам за это, так как это поможет нам осуществить свои задачи с большей легкостью, но, если вы попытаете привлечь нас к этой глупости, вы встретитесь с нашей армией и флотом, истинным выразителем всей нашей нации, которая не захочет присоединиться к вам, но если вы попытаете бороться с нами приемами, которыми Германия победила Россию и обратила Великую Державу в конгломерат одичавших «демократий», — мы вас уничтожим.

«Белая опасность» нам не страшна — она только ведет к гибели Европу и Америку, лишая ее способности к войне, способности к победе. Англия и Франция еще сильны своей аристократией, своим

воинственным началом, инстинктивно заложенным в ее населении, которое никакой демократический разврат в виде пасифизма и социализма не смог уничтожить, — но работа этих факторов ведет их к проигрышу войны и конечной гибели, — если только не случится того, что европейские народы поймут, к чему они идут, и справятся с эпидемией моральной чумы, которой они заразились.

После окончания Европейской войны, а мы будем терпеливо ждать этого конца, правительства под давлением демократии вынуждены будут выдвинуть вопрос о разоружении или ограничении вооружений даже против своего желания и здравого смысла. Ведь правительства открыто говорят, что они ведут войну для сокрушения милитаризма, а именно прусского милитаризма. Допустим, что этот милитаризм будет побежден и вожди демократий, как таковые люди не военные и ненавидящие войну, может быть и социалисты, заговорят о разоружении. Мы будем присутствовать на этой болтовне и выслушаем ее до конца, и мы оставим за собой последнее слово, и это слово будет — «нет», — а если вы не согласны с нами, тогда — война. Я посмотрю, как демократии Запада начнут новую войну против японского милитаризма, новую мировую войну. Но она будет, ибо мы ее хотим, и наш первый удар будет Вы знаете куда направлен.

Если Европейская война не покончит с демократией, то следующая погребет демократию с социализмом, пасифизмом и прочими моральными извращениями навсегда, но это будет стоить белой расе дорого».

Hisahide замолчал — мне нечего было возразить ему.

«Европейские демагоги и демократы думают, что и у нас социализм заразит народную массу, — это не случится; мы, военный класс, мы, потомки буси и самураев, этого не допустим. Мы задушим социализм войной и истребим при ее помощи все те элементы, которые окажутся зараженными. До сих пор мы просто рубим головы разносителям заразы и дезинфицируем таким образом очаги этой моральной чумы. Народы Востока переживали не раз эти эпидемии, у нас она была, и довольно серьезная, в период Асикага в XV столетии, мы с ней справились — и, как Вы знаете, весьма радикально. С другой стороны, мы никогда не допустим развития капитализма в той форме, какую этот строй производства получил хотя бы в демократических Соединенных Штатах. Мы не допустим плутократии и капиталу вмешиваться в государственное управление. С этим явлением мы боремся также, ибо понимаем, что банкир или фабрикант не может управлять государством и, получив власть, приведет неизбежно его к социальной заразе, упадку и даже гибели. Военная доктрина шире и глубже всякой другой системы, скажу более, она охватывает эти системы, в ней лежит и истинная свобода, и реальное благо, и счастье народов».



Hisahide окончил и встал. «Я рано утром завтра уеду, — сказал он. — Вы через несколько дней отправитесь в Месопотамию — встретимся ли мы с Вами когда-нибудь, не знаю, но будете ли врагом или другом, я буду рад этой встрече. Но если Вы останетесь живы, вспомните, что через три года, вероятно, в начале 1921 года, произойдут события, по отношению к которым эта война явится только прелюдией».

Мы простились, и Hisahide ушел.

Я поднялся в свою комнату; на столе, покрытом картой Месопотамского театра, стоял Ваш портрет, и я стал смотреть на него, чтобы отвлечься от тяжкостной справедливости слов японского фанатика. Милый, бесконечно дорогой образ Анны Васильевны показался мне таким далеким, отделенным какой-то стеной от меня [*Далее зачеркнуто*: мечтой без цели и надежды, что], я отошел от стола с чувством последней безнадежности и задумался над странным появлением Yamono Hisahide и его словами. С каким презрением, ненавистью и злорадством говорил этот японец, но как счастлив он в душе, сознавая себя победителем и готовясь с верой фанатика к новой победе. Он в Японскую войну истреблял в армии генерала Оку в Маньчжурских боях уже тогда начавшие разлагаться наши войска, с бездарным командованием, с ослабленной дисциплиной, развращаемые антигосударственной пропагандой, с плохими офицерами. После победоносной войны он служил под командой Хасегавы<sup>20</sup>, подавившего с чисто азиатской последовательностью восстание в Корее, затем взятие Цингтау и изучение войны и военного положения на английском и французском фронте, возвращение через разбитую, побежденную и развалившуюся Россию... С каким удовольствием смотрел он на своего бывшего врага, на товарищей, трусов, преступников и предателей, называвших себя «революционной демократией». Когда-то страшный враг превратился в посмешище и презрение всего мира. Быть русским... быть соотечественником Керенского [*Далее зачеркнуто*: Троцкого<sup>21</sup>], Некрасова<sup>22</sup>, Ленина, Дыбенко<sup>23</sup> и Крыленко<sup>24</sup> [*В тексте*: Дыбенки и Крыленки]... ведь весь мир смотрит именно так; ведь Иуда Искариот на целые столетия символизировал евреев, а какую коллекцию подобных индивидуумов дала наша демократия, наш «народ-богоносец»...

Но ведь это результат проигранной войны... Войну можно проиграть, как во время войны можно проиграть сражение, но тогда есть одна военная формула, высказанная, кажется, Массена Наполеону: «*Oui, la fatalite est perdue, mais nous avons heures pour gagner l'outré*» [*«Да, судьба проиграна, но мы имеем время выиграть другую» (фр.)*]. Да, война проиграна, но мы имеем несколько лет, чтобы начать и выиграть новую.

13 лет тому назад мы проиграли войну. Сказали ли мы эту фразу и сделали ли что-нибудь в ее духе? Кто ответственен за это... правительство? Да, не оно только... Ответственность за это несут прежде всего военные России, главным образом офицерство. После прелюдии 1905, 1906 гг. было ясно, что спасение России лежит в победоносной войне, но кто ее хотел — офицерство? — Нет, войны хотели немногие отдельные лица, которые готовились к ней, как к цели и смыслу своей деятельности и жизни. Они точно указали на время начала войны, и десятилетний период мира был достаточен для всесторонней к ней подготовки. Наши враги были откровенны, но что мы сделали для войны? Наше офицерство было демократизировано и не имело подобия и тени военного сословия, воинственности, склонности и любви к войне, что совершенно необходимо. Оно было не дисциплинировано и совершенно не воинственно. У нас было 3000 генералов против 800 французских, но что это были за фигуры! Что общего имели с высшим командованием эти типичные мирные буржуа, заседавшие в канцеляриях, гражданских ведомствах и управлениях, носившие военную форму и сабли с тупыми золингеновскими клинками. Или офицерская молодежь последнего времени из нашей «интеллигенции», без тени военного воспитания, без знаний, физически никуда не годная, думавшая только, как бы устроиться поудобней и поспокойней в 20 лет... У нас были офицеры преимущественно в гвардейских полках, в Генеральном штабе, но их было мало и численно не хватило на такую войну; два с ½ года они спасали Родину, отдавая ей свою жизнь, а на смену им пришел новый тип офицера «военного времени» — это уже был сплошной ужас. Разве дисциплина могла существовать в такой среде, с такими руководителями — но без дисциплины нет прежде всего смелости участвовать в войне, не говоря уже о храбрости. Без дисциплины человек прежде всего трус и неспособен к войне — вот в чем сущность [*Сначала было: Недисциплинированный человек прежде всего трус, и последний всегда недисциплинарен и неспособен к войне — вот в чем секрет.*] нашей проигранной войны. Надо открыто признать, что мы войну проиграли благодаря стихийной трусости чисто животного свойства [*Сначала было: малодушия*], охватившей массы, которые с первого дня революции освободились от дисциплины и провозгласили трусость истинно революционной добродетелью. Будем называть вещи своими именами, как это ни тяжело для нашего отечества: ведь в основе гуманности, пассивизма, братства рас лежит простейшая животная трусость, страх боли, страдания и смерти. Почтеннейший Керенский называл братающихся с немцами товарищей идеалистами и энтузиастами интернационального братства, а я, возражая ему, просто называл это явление проявлением самой низкой животной трусости. «Товарищ» — это синоним труса

прежде всего, и армия, обратившись в товарищей, разбежалась или демократически «демобилизовалась», не желая воевать с крестьянами и рабочими, как сказал Троцкий и Крыленко.

И вот наряду с этой гнусной фигурой товарища, «разделяющего положение Кинталя и Циммервальда», но не умеющего даже говорить членораздельно и издающего бессмысленные звуки вроде «интернационала», вырисовывается другая фигура, так знакомая по Дальнему Востоку.

Мне особенно запомнилось скульптурное изображение одного из 47 ронинов. При всей наивности техники художник создал произведение, которое оставляет глубочайшее впечатление. Это фигура самурая XVIII века, вынимающего из ножен саблю. Художник передал с необыкновенной реальностью экспрессию ненависти, презрения и самоуверенного надменного спокойствия в монгольской физиономии и всей фигуре самурая, как бы задумавшегося, стоит ли вынуть саблю и не нарушит ли этот акт правило, запрещающее воину пользоваться саблём против нечистых животных. Такое же выражение имела и фигура Yamono Hisahide, когда он говорил о демократическом начале и социализме... И вот так и теперь этот проникнутый военной идеей до фанатизма монголо-малаец смотрит на нашего «революционного демократа» или товарища... он еще не вынул сабли и думает, можно ли применить к этой гадости клинок, в котором ведь заключена «часть живой души воина»... И если все останется так, как есть, то вынимать сабли ему не придется — он просто поставит на грязную демократическую лужу свой тяжелый окованный солдатский башмак, и лужа брызгами разлетится в стороны и немедленно высохнет под лучами «восходящего солнца» без всякого следа.

Но «война проиграна — еще есть время выиграть новую», и будем верить, что в новой войне Россия возродится. «Революционная демократия» захлебнется в собственной грязи, или ее утопят в ее же крови. Другой будущности у нее нет. Нет возрождения нации помимо войны, и оно мыслимо только через войну. Будем ждать новой войны как единственного светлого будущего, а пока надо окончить настоящую, после чего приняться за подготовку к новой. Если это не случится, тогда придется признать, что смертный приговор этой войной нам подписан.

Я долго не спал в эту ночь; я достал клинок Котейсу и долго смотрел на него, сидя в полутемноте у потухающего камина; постепенно все забылось и успокоилось; слабый свет потухающих углей отразился на блестящей полосе клинка, и в тусклом матовом лезвии с характерной волнистой линией сварки стали и железа клинок точно ожил какой[-то] внутренней, в нем скрытой жизнью, на его поверхности появились какие-то тени, какие-то образы, непрерывно сменяющиеся

друг другом, точно струящиеся полосы дыма или тумана... Странные иногда происходят явления.

Утром я спустился прочесть новые газеты. Я развернул «Shanghai Times», и первое, что мне попало на глаза, — это была короткая заметка, озаглавленная «New War» [«Новая война» (англ.)]. Это был перевод предсказания одного японского священника (или жреца, если хотите) шинтоистского храма Mitone в Musachi по имени Seihachi Kamoshito.

Позвольте привести это предсказание по-английски, не переводя его на русский язык [*Упомянутый текст отсутствует.*].

Как Вам нравится предсказание Kamoshito [*Далее зачеркнуто*]: Он не говорит ни слова про три великие державы, с которыми будет бороться Япония, но представляю Вам догадываться, какие это могут быть державы.] Но довольно военной политики и милитаризма — я хочу сказать немного и про себя. Kamoshito предсказывает март 1919 г. как окончание войны — я буду надеяться, что не позже мая 1919-го я смогу Вас увидеть. Но если война затянется еще на год, то, вероятно, придется мне ждать 1920 г. Конечно, все это предположительно, что в 1919 и 1920 гг. я вообще буду иметь возможность какой-либо встречи. Наконец, захотите ли Вы ее — это тоже такой же вопрос. В конце концов будет так, как решит война, и ни я, ни даже Вы ничего с ней не поделаете. Для меня это так ясно, что я только могу надеяться, что война, которой я так предан, будет ко мне со временем настолько милостива, что позволит Вас встретить и увидеть, — я постараюсь служить ей как смогу лучше, чтобы получить ее благосклонное отношение и милостивое снисхождение к моему желанию целовать ручки Ваши. Вы знаете, что она совершенно непостижима и понять ее действия совершенно невозможно, и они не всегда согласуются с нашей логикой и намерениями. Иногда за ненужный пустяк она дает все, что только можно желать, иногда за подвиг — вычеркивает из списка... Она как-то сказала по-немецки со сквернейшим прусским акцентом: «nicht resonieren» [не резонировать (нем.)], а потом выпустила Клаузевица, написавшего, прости Господи, «Vom Kriege» [«О войне» (нем.)] с необыкновенно проникновенной главой об Uberhohe [сверхвысота, крайняя высота], с помощью которой Hindenburg ликвидировал Россию путем социализма. Но я пишу вздор. Не сердитесь, милая, обожаемая моя Анна Васильевна.

Она пришла ко мне совершенно неожиданно в один из вечеров, когда я сидел над картами военных театров, рассматривая последнюю «операцию» или, вернее, генерала Макензена в Прибалтийском крае — это было очень много, больше даже, чем я мог себе представить, и я был близок к потере всякой веры, всякой надежды на какое-либо будущее... И она пришла ко мне [*Этот абзац отделен от основного текста письма чертой.*].

*Singapore 16.III.1918 г.*

Милая, бесконечно дорогая, обожаемая моя

Анна Васильевна,

Пишу Вам из Singapore, где я оказался неисповедимой судьбой в совершенно новом и неожиданном положении. Прибыв на «Dunera», которую я ждал в Shanghai около месяца, я был встречен весьма торжественно командующим местными войсками генералом Ridaud, передавшим мне служебный пакет «On His Majesty's Servis» [«На службе Его Величества» (*англ.*)] с распоряжением английского правительства вернуться немедленно в Китай для работы в Маньчжурии и Сибири. Английское правительство после последних событий, выразившихся в полном разгроме России Германией, нашло, что меня необходимо использовать в Сибири в видах Союзников и России предпочтительно перед Месопотамией, где обстановка изменилась, по-видимому, в довольно безнадежном направлении. И вот я со своими офицерами оставил «Dunera», перебрался в «Hotel de l'Europe» и жду первого парохода, чтобы ехать обратно в Shanghai и оттуда в Пекин, где я имею получить инструкции и информации от союзных посольств. Моя миссия является секретной, и хотя я догадываюсь о ее задачах и целях, но пока не буду говорить о ней до прибытия в Пекин.

Милая моя Анна Васильевна, Вы знаете и понимаете, как это все тяжело, какие нервы надо иметь, чтобы переживать это время, это восьмимесячное передвижение по всему земному шару...

Не знаю, я сам удивляюсь своему спокойствию, с каким встречаю сюрпризы судьбы, меняющие внезапно все намерения, решения и цели... Я почти успокоился, отправляясь на Месопотамский фронт, на который смотрел почти как на место отдыха... Кажется, странное представление об отдыхе, но и этого мне не суждено, но только бы кончилось это ужасное скитание, ожидание, ожидание, которое способно привести в состояние невменяемости любого Бога... Это время было для меня временем величайшего страдания, которое я когда-либо испытывал, кончится ли оно когда-нибудь...

Вы, милая, обожаемая Анна Васильевна, так далеки от меня, что иногда представляетесь мне каким-то странным сном. Разве не сон воспоминания о Вас в той обстановке, где я теперь нахожусь; на веранде экзотического английского отеля в жаркую тропическую ночь в атмосфере какого-то парника, в совершенно чуждом и совершенно ненужном для меня городе — я сижу перед Вашим портретом и пишу Вам эти листки, не зная, попадут ли они когда-нибудь в Ваши ручки.

Даже звезды, на которые я всегда смотрел, думая о Вас, здесь чужие; Южный Крест, нелепый Скорпион, Центавр, Арго с Канопусом — все это чужое, невидимое для Вас, и только низко стоящая на севере

Большая Медведица и Орион напоминают мне Вас; может быть, Вы иногда смотрите на них и вспоминаете Вашу химеру, действительно заслуживающую одним последним периодом своей жизни это нелепой фантазии.

*Харбин 29 апреля 1918 г.*

Дорогая, милая, обожаемая Анна Васильевна.

Сегодня получил письмо Ваше от 20 апреля. У меня нет слов, нет умения ответить Вам; менее всего я мог предполагать, что Вы на Востоке, так близко от меня. Получив письмо Ваше, я прочел Ваше местопребывание и отложил письмо на несколько часов, не имея решимости его прочесть. Несколько раз я брал письмо в руки и у меня не хватало сил начать его читать. Что это, сон или одно из тех странных явлений, которыми дарила меня судьба. Ведь это ответ на мои фантастические мечтания о Вас — мне делается почти страшно, когда я вспоминаю последние. Анна Васильевна, правда ли это или я, право, не уверен, существует ли оно в действительности или мне только так кажется.

Ведь с прошлого июля я жил Вами, если только это выражение отвечает понятию думать, вспоминать и мечтать о Вас, и только о Вас [*Далее зачеркнуто*: Я посылаю Вам небольшую сумму, зная, что Вам трудно жить, и если Вы не захотите прийти ко мне, то примите ее для своих личных нужд. Письмо написано на обороте листа с воззванием А. В. Колчака «Сербские воины».]

